



Алексей Михайлович Ремизов

ПОСОЛОНЬ

ПОСОЛОНЬ[1]

Вячеславу Ивановичу Иванову

Наташе[2]

Засни, моя деточка милая!

В лес дремучий по камушкам Мальчика с пальчика,

Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,

Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда.

Приветливо нас повстречают красные маки.

Не станет царапать дикая роза в колючках,

Злую судьбу не прокаркнет птица-вещунья,

И мимо на ступе промчится косматая ведьма,

Мимо мышинные крылья просвищут Змия с огненной пастью,

Мимо за медом-малиной Мишка пройдет косолапый...

Они не такие...

Не тронут.

Засни, моя деточка милая!

Убегут далеко-далеко твои быстрые глазки...

Не мороз — это солнышко едет по зорям шелковым,

Скрипят его золотые, большие колеса.
Смотри-ка, сколько играет камней самоцветных!
Растворяет нам дверку избушка на лапках куриных,
На пятках собачьих.
Резное оконце в красном пожаре...
Раскрылись желанные губки.
Светлое личико ангела краше.
Веют и греют тихие сказки...
Полночь крадется.
Темная темь залегла по путям и дорогам.
Где-то в трубе и за печкой
Ветер ворчливо мурлычет.

Ветер... ты меня не покинешь?

Деточка... милая...

1902

Весна-красна[3]

Монашек[4]

Мне сказали, там кто-то пришел, в сенях стоит.
Вышел я из комнаты, а там, гляжу, — монашек стоит.
— Здравствуй! — говорит и смотрит на меня пристально, словно проверяет что-то.
Маленький монашек, беленький.
— Здравствуй, что тебе надо?
— Так, по домикам хожу. — Подает мне веточку.
— Что это, монашек, никак листочки!

— Листочки. — И улыбается.

А я уж от радости не знаю, что и делать. Комната, рамы и вдруг эта ветка с зелеными, совсем-совсем крохотными масляными листочками.

— Хочешь, монашек, баранок турецких, у нас тут на углу пекут?

— Нет.

— Чего же тебе, молочка хочешь?

— Нет.

— Ну, яблочков?

— Медку бы съел немножко.

— Медку... Господи, монашек!.. Я тебя где-то видел.

Монашек улыбается.

Крепко держу зеленую ветку. Листочки выглядывают.

Моя ветка, мои листочки!

Монашек стоит, улыбается.

Красочки[5]

— Динь-динь-динь...

— Кто там?

— Ангел.

— Зачем?

— За цветом.

— За каким?

— За незабудкой.

Вышла Незабудка, заискрились синие глазки. Принял Ангел синюю крошку, прижал к теплему белому крылышку и полетел.

— Стук-стук-стук...

— Кто там?

— Бес.

— Зачем?

— За цветом.

— За каким?

— За ромашкой!

Вышла Ромашка, протянула белые ручки. Пощекотал Бес вертушке[6] желтенькое пузичко[7], подхватил себе на мохнатые лапки и убежал.

— Динь-динь-динь...

— Кто там?

— Ангел.

— Зачем?

— За цветом.

— За каким?

— За фиалкой.

Вышла Фиалка, кивнула голубенькой головкой. Приголубил Ангел черноглазку и полетел.

— Стук-стук-стук...

— Кто там?

— Бес.

— Зачем?

— За цветом.

— За каким?

— За гвоздикой.

Вышла Гвоздика, зарумянились белые щечки. Бес ее в охапку и убежал.

Опять звонил колокольчик, — прилетал Ангел, спрашивал цвет, брал цветочек. Опять колотила колотушка, — прибежал Бес, спрашивал цвет, забирал цветочек.

Так все цветы и разобрали.

Сели Ангел и Бес на пригорке в солнышко. Бес со своими цветами налево, Ангел со своими цветами направо.

Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на перышки.

Уговор не смеяться, кто засмеется, тот пойдет к Бесу.

Ангел смотрит серьезно.

— В чем ты грешна, Незабудка? — начинает исповедовать плутовку.

Незабудка потупила глазки, губки кусает — вот рассмеется.

Налево у Беса такое творится, будь ты кисель киселем, и то засмеешься. Поджигал Бес цветочки: сам мордочку строит, — цветочки мордочку строят, сам делает моську, — цветочки делают моську, сам рожицы корчит, — цветочки рожицы корчат, мякают, кукуют, юлой юлят [8] и так-то и этак-то — вот как!

Незабудка разинула ротик и прыснула.

— Иди, иди к Бесу! — закричали цветочки.

Пошла Незабудка налево.

Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на перышки.

А налево гуготня[9], — Бес тешится.

Ангел смотрит серьезно, исповедует:

— В чем ты грешна, Фиалка?

Насупила бровки Фиалка, крепилась-крепилась, не вытерпела и улыбнулась.

— Иди, иди к Бесу! — кричали цветочки.

Пошла Фиалка налево.

Так все цветочки, какие были у Ангела, не могли удержаться и расхохотались.

И стало у Беса многое множество и белых и синих — целый лужок.

Высоко стояло на небе солнышко, играло по лужку зайчиком.

Тут прибежало откуда-то семь бесенят, и еще семь бесенят, и еще семь, и такую возню подняли, такого рогача-стрекоча задавать[10] пустились, кувыркались, скакали, пищали, бодались, плясали, да так, что и сказать невозможно.

Цветочки туда же, за ними — и! как весело — только платица развеваются синенькие, беленькие.

Кружились-кружились. Оголтели совсем бесенята, полезли мять цветочки да тискать, а где под шумок и щипнут, ой-ой как!

Измятые цветочки уж едва качаются. Попить запросили.

Ангел поднялся с горки, поманил белым крылышком темную тучку. Приплыла темная тучка, улыбнулась. Пошел дождик.

Цветочки и попили досыта.

А бесенята тем временем в кусты попрятались. Бесенята дождика не любят, потому что они и не пьют.

Ангел увидел, что цветочкам довольно водицы, махнул белым крылышком, сказал тучке:

— Будет, тучка, плыви себе.

Поплыла тучка. Показалось солнышко.

Ангелята явились, устроили радугу.

А цветочки схватились за ручки да бегом горелками[11] с горки —

Гори-гори ясно,

Чтобы не погасло...

Очухались бесенята, вылезли из-под кустика да сломя голову за цветочками, а уж не догнать, — далеко. Покрутились-повертелись, показали ангелятам шишки, да и рассыпались по полю.

Тихо летели над полем птицы, возвращались из теплой сторонки.

Бесенята ковырялись в земле, курлыкали — птичек считали, а с ними и Бес-зажига[12] рогатый.

Кострома[13]

Чуть только лес оденется листочками и теплое небо завьется белесыми хохолками, сбросит Кострома свою колючку — ежовую шубку, протрет глазыньки да из овина на все четыре стороны, куда взглянется, и пойдет себе.

Идет она по талым болотцам, по вспаханным полям да где-нибудь на зеленой лужайке и заляжет; лежит-валяется, брюшко себе лапкой почесывает, брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Любит Кострома поприбавить, блинков поесть да кисельку клюквенного со сливочками да с пеночками. А так она никого не ест, только представляется: поймает своим желтеньким усиком мушку какую, либо букашку, пососет язычком медовые крылышки, а потом и выпустит, — пускай их!

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Еще любит Кострома с малыми ребятками повозиться, поваландаться: по сердцу ей лепуны-щекотуны[14] махонькие.

Знает она про то, что в колыбельках деется, и кто грудь сосет, и кто молочко хлебает, зовет каждое дите по имени и всех отличить может.

И все от мала до велика величают Кострому песенкой.

На то она и Кострома-Костромушка.

Лежит Кострома, валяется, разминает свои белые косточки, брюшком прямо к солнышку.

Заприметят где ребятишки ее рожицу да айда гурьбой взапуски. И скачут пичужки пестренькие, бегут бегом, тянутся ленточкой и чувыркают-чивикают[15], как воробышки.

А нагрянут на лужайку, возьмут друг дружку за руки да кругом вокруг Костромушки и пойдут плясать.

Пляшут и пляшут, поют песенку.

А она лежит, лежона-нежона, нежится, валяется.

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Спит.

И опять закружатся, завертятся, ножками топают-притопывают, а голосочки, как бубенчики, и звенят и заливаются, — не угнаться и птице за такими свистульками.

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Встает.

Встает Кострома, подымается на лапочки, обводит глазыньками, поводит желтеньким усиком, прилаживается: кого бы ей наперед поймать.

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Чешется.

Так круг за кругом ходят по солнцу вокруг Костромушки, играют песенку, допытывают: что Кострома подельывает?

А Кострома-Костромушка и попила, и поела, и в баню пошла, и из бани вернулась, села чай пить, чаю попила, прикурнула на немножечко, встала, гулять собирается...

— Дома Кострома?

— Дома.

— Что она делает?

— Померла.

Померла Кострома, померла!

И подымается такой крик и визг, что сами звери-зверюшки, какие вышли было из-за ельников на Костромушку поглазеть, лататы на попятный, — вот какой крик и визг!

И бросаются все взхлес[16] на мертвую, поднимают ее к себе на руки и несут хоронить к ключику.

Померла Кострома, померла!

Идут и идут, несут мертвую, несут Костромушку, поют песенку.

Вьется песенка, перепархивает, голубым жучком со цветка по травушке, повевавет ветерком, расплетает у девочек коски, машет ленточками и звенит-жужжит, откликается далеко за тем синим лесом.

Поле проходят, полянку, лесок за леском, проходят калиновый мост[17], вот и овражек, вот ключик — и бежит и недвижим — серая искорка-пчелка...

И вдруг раскрывает Кострома свои мертвые глазыньки, пошевеливает желтеньким усиком, — ам!

Ожила Кострома, ожила!

С криком и визгом роняют наземь Костромушку да кто куда — врассыпную.

Мигом вскочила Костромушка на ноги да бегом, бегом — догнала, переловила всех, — возятся. Стог из цветочков! Хохоту, хохоту сколько, — писк, визготня. Щекочет, целует, козочку делает, усиком водит, бодается, сама поддается, — попалась! Гляньте-ка! гляньте-ка, как забарахтались! — повалили Костромушку, салазки загнули, щиплют, щекочат — мала куча, да не совсем! И! — рассыпался стог из цветочков.

Ожила Кострома, ожила!

Вырвалась Костромушка да проворно к ключику, припала к ключику, насытилась и опять на лужайку пошла.

И легла на зеленую, на прохладную. Лежит, развалилась, валяется, лапкой брюшко почесывает, — брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Там распаханые поля зеленой зеленятся[18], там в синем лесе из нор и берлог выходят, идут и текут по черным утолкам[19], по пробойным тропам[20] Божии звери, там на гиблом болоте[21] в красном ивняке Леснь-птица[22] гнездо вьет, там за болотом, за лесом Егорий кнутом ударяет...[23]

Песенка вьется, перепархивает со цветочка по травушке, пестрая песенка-ленточка...

А над полем и полем, лесом и лесом прямо над Костромушкой — небо — церковь хлебная,

калачом заперта, блином затворена.

Кошки и мышки[24]

Путались мышки в поле. Тащили кулек с костяными зубами[25]: немало их за зиму попало от ребят в норку. А теперь приходила пора за зуб костяной отдавать зуб железный, а много ли надо зубов, мышки не знали.

Путь им лежал полем в молоденький березняк. Там под

Заячьими ушками [26] — ландышами, у Громовой стрелки[27] могли они хорошо примоститься и сладить нелегкое дело. Ни Громовая стрелка, ни белые Заячьи ушки не выдадут мышек.

Прошел вечер дождик с громом да с молнией, и жарынь, что твое лето.

Подвигались мышки не споро.

Одна мышка во главе шла, казала дорогу хвостиком, — свистуха[28] отчаянная, дурила всем мышкам голову.

— Никого я не боюсь, — егозила егоза, подшаркивала розовой лапочкой, — самому Коту на лапу наступлю, ищи-свищи, вывернусь!

Пыхтели мышки, диву давались, да отговор сказывали: накличет еще беды какой, ног не соберешь.

А уж Кот-Котонай[29] и идет с своей Котофеевной, пыжит седые усищи, поет песенку.

Мышка на него:

— Кто ты такой?

— Да я Кот-Котонай! — удивился Кот.

— А я тебя не боюсь.

— Чего меня бояться, — завел Котонай сладко зеленые глазки, — я ничего худого не сделаю.

— А тебе меня не поймать!

— Ну, это еще посмотрим.

— И не смотревши...

Но уж Кот наершился, прицелил глаз, хотел на мышку броситься.

А мышка стала на пяточки, поджала хвостик промеж лапок, пошевеливает хвостиком.

— Нет уж, — говорит, — так этого не полагается, ты сядь вот тут на камушек и сиди смирно, а нам давай твою Котофеевну, и пускай она меня ловит.

Потянулся Кот-Котонай, мигнул Котофеевне. Пошла Котофеевна к мышкам, сам уселся на камушек, задрал заднюю лапу вверх пальцем, запрятал мордочку в брюшко, стал искаться.

Блоховат был Кот, строковат[30] Котонай, пел песенку.

— Мы с тобой, кошка, станем в середку, а они пускай за лапки держатся и пускай вокруг нас вертятся, я куда хочу, туда могу выскочить, а тебе будет двое ворот, вот эти да эти, ну, раз, два, три — лови!

Пискнула мышка да с кона от кошки жиг! — закружилась.

Кошка за мышкой, мышка от кошки, кошка налево, мышка направо, кошка лапкой хватъ мышку, а мышка:

— Брысь, кошка! — да за ворота: — Что, кошка, съела?

Крутится, вертится, мечется кошка.

Крутятся, кружатся, вертятся мышки, держатся крепко за лапки, да дальше по полю, да дальше по травке, да дальше по кочкам.

Заманивает мышка-плутовка кошку под Заячьи ушки.

— Где ты, Кот, где, Котонай! — Котофеевна кличет.

Потеряли совсем Кота-седоуса из виду.

Блоховат был Кот, строковат Котонай, пел песенку.

Кошка из кона в ворота:

— Берегись, мышка, поймаю!

Мышка бегом, сиганула — живо-два — да в кон.

Кошка за мышкой, мышка от кошки, крутятся, кружатся мышки, хитрая мышка, плутиха, вот поддается, уж прыгнула кошка...

Стой! — березняк, Заячьи ушки, Громовая стрелка...

Туда-сюда, глянь, а мышек и нет, — канули мышки.

Изогнула сердито Котофеевна хвостик, надула брезгливо красненький ротик, язычок наострила: «Тут они где-то, а где, не поймешь».

— Чтоб вас нелегкая! — И пошла Котофеевна.

Шла искать Котоная, курлыккала.

Вянули ветры, пыхало зноем.

А мышки оскалили зубки, взялись за зубы.

Полкулька растеряли по дороге, — эка досада! — спросит с них Громовая стрелка, не даст им железные зубы.

Заячьи ушки — белая стенка загораживали мышек.

И тихо качались березы, осыпали на мышек золотые сережки, висли прохладой.

Гуси-лебеди[31]

Еще до рассвета, когда черти бились на кулачки[32], и собиралась заря в восход взойти, и скидывал ветер шелковой плеткой, вышел из леса волк в поле погулять.

Канули черти в овраг, занялась заря, выкатилось в зорьке солнце.

А под солнцем

рай-дерево [33] распустило свой сиреневый медовый цвет.

Гуси проснулись. Попросились гуси у матери в поле полетать. Не перечила мать, отпустила гусей в поле, сама осталась на озере, села яйцо нести. Несла яйцо, не заметила, как уж день подошел к вечеру.

Забеспокоилась мать, зовет детей:

— Гуси-лебеди, домой!

Кричат гуси:

— Волк под горой!

— Что он делает?

— Утку щиплет.

— Какую?

— Серую да белую.

— Летите, не бойтесь...

Побежали гуси с поля. А волк тут как тут. Перенял все стадо, потащил гусей под горку. Ему, серому, только того и надо.

— Готовьтесь, — объявил волк гусям, — я сейчас вас есть буду.

Взмолились гуси:

— Не губи нас, серый волк, мы тебе по лапочке отдадим по гусиной.

— Ничего не могу поделаться, я — волк серый.

Пощипали гуси травки, сели в кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется.

Волк в те поры точил себе зубы: иступил, лакомясь утками.

А мать, как почуяла, что неладное случилось с детьми, снялась с озера да в поле. Полетала по полю, покликкала, видит — перышки валяются, да следом прямо и пришла к горке.

Стала она думать, как ей своих найти, — у волка были там и другие гуси, — думала, думала и придумала: пошла ходить по гусям да тихонько за ушко дергать. Который гусь пикнет, стало быть, ее, — матернин, а который закукарекает, не ее, — волков.

Так всех своих и нашла.

Уж и обрадовались гуси, содом подняли.

Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело.

Тут-то они на него, на серого, и напали. Схватили волка за бока, поволокли на горку, разложили под рай-деревом да такую баню задали, не приведи Бог.

— Вы мне хвост-то не оторвите! — унимал гусей волк, отбрыкивался.

Пощипали-таки его изрядно, уморились да опять на озеро: пора и спать ложиться.

Поднялся волк не солоно хлебавши, пошел в лес.

Возныла темная туча, покрыла небо.

А во тьме белые томновали[34] по лугу девки-пустоволоски[35] да бабы-самокрутки[36], поливали

одолень-траву [37].

Вылезли на берег водяники[38], снимали с себя тину, сели на колоды и поплыли.

Шел серый волк, спотыкался о межу, думал-гадал о Иване-царевиче.

На озере гуси во сне гоготали.

Кукушка[39]

Давным-давно прилетел кулик из-за моря[40], принес золотые ключи, замкнул холодную зиму, отомкнул землю, выпустил из неволя воду, траву, теплое время.

Размыла речка пески, подмыла берег, подплыла к орешенью и ушла назад в берега.

Расцвела яблонька в белый цвет, поблекли цветы, опадал цвет.

Из зари в зарю перекатилось солнце, повеяли нежные ветры, пробудили поле.

Сторожил кулик поле, ранняя птичка, подчищал носок.

По полю гурьбой шли девочки, рвали запашные васильки, закликали кукушку.

Кукушечье-горюшечье[41] на виловатой сосне[42] соскучилась, не сиделось кукушке в бору, поднялась в луга.

По дубраве дорожка лежит.

Девочки свернули на дорожку. Под широким лопухом несли

кукушку, плели венки.

За дубравой на красе[43] стоит гора-круча[44]. На той горе на круче супротив солнца стоит березка.

Обливалась росой кудрявая березка.

Посадили девочки

кукушку на березку. Заломили белую, заплели веночком. Схватились рука об руку и пошли
вкруг

кукушки .

— Кукушечка, боровая, чего в бору не сидела?

— Воли нету, воды нету.

— Где же воля?

— Пошла воля по лугам.

— Где вода?

— Пошла вода по болотам.

— Лети, кукушечка, лети, боровая, в лугах птички поют, соловей свищет.

Сели девочки на примятую траву, поели лепешек, целовались, покумились друг с дружкой и в
венках тронулись к речке.

Там разделись и с берега вошли в воду. По воде пустили венки.

Плыли венки, куковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?[45]

Ушли обнявшись девочки с речки, закатилось солнце.

Вышла из бора старая старуха Ворогуша[46], пошла с костылем по полю.

Преклонялось поле, доцветал хлеб.

Перехожая звездочка перешла к горе-круче, заблестала синим васильком.

Плыли венки, куковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?

Красная жар-жаром заря не гасла.

В высокой траве в петушках[47] всю ночь до первых петухов стрекотал кузнец-чирюкан[48].

У лисы бал[49]

У лисы бал.

— Я пес.

— Я бас.

— Я баран.

Это ноты.

Барабан.

Трам-там-там,

Трам-там-там.

По высоким горам,

по зеленым долам

чинно шествуем на бал.

Разбрeда-емя,

собира-емя,

переходим ров и вал.

Осел, козел,

олень да лев,

медведюшка —

звери страшные,

звери важные,

сам с усам,

сам с рогам.

Трам-там-там,

Трам-там-там.

У лисы бал.

— Я пес.

— Я бас.

— Я баран.

Это ноты.

Барабан.

Трам-там-там,

Трам-там-там.

Там, там.

Там.

Лето-красное[50]

Калечина-Малечина[51]

Сергею Городецкому

Курица со двора —

Калечина в ворота.[52]

Заберется Малечина в гибкий плетень,

тоненько комариком песню заведет,

ждет:

«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»

У Калечины одна — деревянная нога,

у Малечины одна — деревянная рука,

у Калечины-Малечины один глаз — маленький, да удаленький.

— Калечина-Малечина,
сколько часов до вечера?

Скок Калечина-Малечина с плетня,
подберется вся — прыг-прыг-прыг... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
Да юрк в плетень. Пригорюнится,
тоненько комариком песенку ведет,
ждет:

«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»

У Калечины семь братьев —
у Малечины семь ветров,
а восьмой неродной — вихорь витной[53] — маленький, да постыленький
— Калечина-Малечина,
сколько часов до вечера?

Вечером врывается, крутит вихрь в лесу,
Вечером Калечине весело в виру[54].
Ночка по небу лучинки зажжет,
Темная, темную нитку прядет...[55]
Курица в ворота —
Калечина со двора.

Черный петух[56]

От недели до недели[57] подоспело лето.

Последняя отлетная птичка прилетела до витого гнездышка. Зацвели белые и алые маки. Голубые цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила пряным снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, золотые подсолнухи. Сухим золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное[58] жито[59] раскинулись и вдаль и вширь; неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ небесную синь и потонули в жужжанье и сыти дожатвенной жажды.

С цветка на цветок, с травки на травку день до вечера перелетает пчелка, несет праздники [60].

И не упасть первой росе, а уж щелкает, звонко хлопает в воздухе кнут, звякают коровьи колокольчики — гонят стадо.

А за стадом высоко, как дым, подымается пыль вдоль по улице.

И они чахлые и заморенные — Коровья смерть[61] да Веснянка-Подосенница[62] с сорока сестрами пробегают по селу, старухой в белом саване, кличут на голос.

Много они натворили бед — съешь их волк! — то под тыном прикинется — Подтынница, то на дворе пристягнет — Навозница, то соскочит с веретена да заскочит в пряху — Веретенница, то выскочит с болотной кочки — Болотница[63]: им бы портить скотину, вынимать румянец из белого лица, вкладывать стрелы в спину, крючить на руках пальцы, трясмя трясти тело.

И не гулянье от них ребятишкам: не век же голопузым носить на себе змеиного выползка[64].

Но и нечисть знает черед.

Собирается нечисть зноем в полдень к ведьмаку Пахому, — Пахома изба на краю села: там ей попить, там ей поесть.

В курнике петух взлетает на насест, схватившись с места, как шальной, кричит по селу. Кричит петух целые ночи, несет змеиные спорыши[65], напевает, проклятый, на голову от недели до четверга. Сам Пахом-ведьмак об эту пору в печурке возится, стряпает из ребячьего сала свечу[66], — той свечой наведет колдун мертвый сон на человека и на всякую Божию тварь. Джурка, Пахомова дочка, не смыкая глаз, летает перепелкой, собирает

золотой гриб [67].

Так от недели до четверга.

В четверг в полночь на пятницу подымается на ноги все село.

С шумом врываются в Пахомов курник[68], чадят зажженными метлами, ловят черного петуха.

Изловили черного петуха и с петухом идут на другой край села.

Алена верхом на рябиновой палке с мутовкой[69] на плече, нагая, впереди с горящим угольком, за Аленой двенадцать девок с распущенными волосами в белых рубахах, с серпами и кочергами в руках и другие двенадцать с распущенными волосами, в черных юбках держат черного петуха.

А за ними ватагой и стар и мал.

Шумя и качаясь[70], вышли девки за село, запалили угольком[71] сложенный в кучу назем[72], трижды обнесли петуха вокруг кучи.

Тут выхватила Алена от девок петуха и, высоко держа над головой черноперого, пустилась с петухом по селу, забегая к каждой избе, мимо всех клетей с края на край.

С пронзительным криком, с гиканьем погнались за ней и белые и черные девки.

— А, ай, ату, сгинь, пропади, черная немочь!

Рвется черный петух, наливаются кровью глаза, колотится черное сердце.

Обежав все село, бросила Алена петуха в тлеющий назем.

Кинули за ним девки хвороста, сухих листьев, — и вспыхнул костер, с треском взвились листья и неслись, жужжа, как красные жучки, — неслись красные перья, завивались в косицы, и красная голова пела зимовые песни.

— Сгинь, сгинь, пропади, черная немочь! — Скачут вокруг костра хороводом и черные и белые девки, притопывают, приговаривают, звенят в косы, бьют в чугуны, пока не ухнет красная голова, не зашипит уж больше ни одно красное перышко.

Сонной сохой по селу протянулась дорога, белая от высокого месяца. На месяце все по-прежнему подымал на вилы Каин Авеля[73].

Шатаясь, шел по вымершему селу ведьмак Пахом, хватался за верею, дышал гарным петушьим духом[74].

У Аленина двора со двора в ночевку бежит кот; ударил его Пахом посередь живота, сел на него, подкатил, как месяц, к окну, глазом надел на Алену хомут[75], шептал в ее след:

— Чтоб у нее, у миленькой, и спинушка и брюшенько красным опухом окинулись и с зудом.

Притрепался ведьмак, поманул зарю, иссяк, как дым: волю снимать, неволю накладывать.

Не дождалась Джурка отца, поужинала. Поужинав, обернулась в галочку, полетела за речку росицу пить. Занялась заря.

Богомолье

Петька[76], мальчонка дотошный, шаландать[77] куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье.

То-то дорога была. Для Петьки вольготно[78]: где скоком, где взапуски, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит.

И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, — пострел, того и гляди, шею свернет либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли! Ну, и смеху было: в жизнь не смеялась так старая, тряхонула на старости лет старыми костями. Умора[79] давай разные разности выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой заквакает. И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.

— Нет, — говорит, — сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!

«Вот тебе и богомолье, — полпути еще не пройдено, Господи!»

А Петька поморочил, поморочил бабушку да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники, да такой земляники, все пальчики оближешь. И сухари все целы-целехоньки.

Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а Петька «Господи помилуй» пел.

Так и добрались шажком да тишком до самого монастыря. И прямо к заутрене попали. Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться.

Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится, приставал к бабушке, а бабушка говорит:

— Нельзя, грех!

Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила, ну помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Потасил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, и конца не видно, ноги подкашиваются. Насилу вскарабкались.

Петька, как колокольчик, заливается, гудит, — колокол представляет. Да что — ухватился за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах оттащил, а то долго ли до греха.

Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один, странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать.

А как свалила жара, снова в путь тронулись.

Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться — в монастырь уйти.

«В монастыре хорошо, — мечтал Петька, — ризы-то какие золотые, и всякий Божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый».

Бабушка охала, творила молитву.

1905

Купальские огни[80]

Закатное солнце, прячась в тучу, заскалило зубы[81] — брызнул дробный дождь. Притупил дождь косу, прибил пыль по дороге и закатился с солнцем на ночной покой.

Коровы, положа хвост на спину, не мыча, прошли. Не пыль — тучи мух провожали скот с поля домой.

На болоте болтали лягушки-квакушки.

И

дикая кошка — желтая иволга унесла в клюве вечер за шумучий бор, там разорила гнездо соловью, села ночевать под черной смородиной.

Теплыми звездами опрокинулась над землей чарая[82] Купальская ночь.

Из тенистых могил и темных погребов встало Навье[83].

Плавали по полю воздушные корабли. Кудеяр-разбойник стоял на корме, помахивал красным платочком. Катили с погостов погребальные сани. Сами ведра шли на речку по воду. В чаще расставлялись столы, убирались скатертями. И гремел в болотных огнях Навий пир мертвецов.

Криксы-вараксы[84] скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, оттяпали хвост попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили собачий хвост, играли с хвостом.

У развилистого вяза растворялась земля, выходили из-под земли на свет посмотреть зарытые клады. И зарочные три головы[85] молодецких, и сто голов воробьиных, и кобыля сивая холка подмаргивали зеленым глазом, — плакались.

Бросил Черт свои кулички[86], скучно: небо заколочено досками, не звонит колокольчик, — поманулось рогатому погулять по Купальской ночи. Без него и ночь не в ночь. Забрал Черт своих чертяток, глянул на четыре стороны, да как чокнется[87] обземь, посыпались искры из глаз.

И потянулись на чертов зов с речного дна косматые русалки; приковылял дед Водяной, старый хрен кряхтел да осочьим корневищем помахивал, — чтоб ему пусто!

Выползла из-под дуба-сорокавца[88], из-под ярого руна сама змея Скоропея[89]. Переваливаясь, поползла на своих гусиных лапах, лютые все двенадцать голов — пухотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные и рябая и ясная катились месяцем. Скликнула-вызвала Скоропея своих змей-змеенышей. И они — домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные приползли из своих нор.

Зачесал Черт затылок от удовольствия.

Тут прискакала на ступе Яга. Стала Яга хороводницей. И водили хоровод не по-нашему.

— Гуш-гуш[90], хай-хай, обломи тебя облом![91] — отмахивался да плевал заплутавшийся в лесу колдун Фаладей, неподтыканный[92] старик с мухой в носу[93].

А им и горя нет. Защекотали до смерти под елкой Аришку, втопили в болото Рагулю — пошатаешься! ненароком задавили зайчонка.

Пошла заюшка собирать подорожник: авось поможет!

С грехом пополам перевалило за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь.

Купальская ночь колыхала теплыми звездами, лелеяла.

Распустившийся в полночь купальский цветок горел и сиял, точно звездочка.

И бродили среди ночи нагие бабы — глаз белый, серый, желтый, зобатый, — худые думы, темные речи.

У Ивана-царевича в высоком терему сидел в гостях поп Иван. Судили-рядили, как русскому царству быть, говорили заклятские слова. Заткнув ладонь за семишелковый кушак, играл царевич насыпным перстеньком, у Ивана-попа из-под ворота торчал козьей бородой чертов хвост.

— Приходи вчера![94] — улыбался царевич.

А далеким-далеко гулким походом[95] гнался серый Волк, нес от Кощея живую воду и мертвую.

Доможил-Домовой толкал под ледящий бок — гладил Бабу-Ягу. Притрушенная папоротником, задрала ноги Яга: привиделся Яге на купальской заре обрада[96] — молодой сон.

Леший крал дороги в лесу да посвистывал, — тешил мохнатый свои совы глаза.

За горами, за долами по синему камню бежит вода, там в дремливой лебеде Сорока-щектуха [97] загоралась жар-птицей.

По реке тихой поплыней[98] плывут двенадцать грешных дев[99], белый камень алатырь, что цвет, томно светится в их тонких перстах.

И восхикала лебедью алая Вытарашка[100], раскинула крылья зарей, — не угнать ее в черную печь, — знобит неугасимая горячую кровь, ретивое сердце, истомленное купальским огнем.

Воробьиная ночь[101]

Валили валом густые облака, не изникали, — им сметы нет. За облаками возили копы[102], и туча шла за тучей, как за копой веселая копа, поскрипывали колеса.

Ветром повеяло б, грянул бы гром! Не веяли ветры, не крапнул дождик.

Ни звериного потопу, ни змеиного пошипу.

В тихих заводях[103] лебеди пели.

И разомкнулось тридевять золотых замков, раскуталось тридевять дубовых дверей — туча за тучу зашла — затрещало, загикало, свистело, гаркало.

Воробушки [104] — ночные полуночники, выпорхнув, кинулись по небу летать.

Ковал кузнец воробьиною свадебку, ковал крепко-накрепко, вечно-навечно, — не рассушить ее солнцем, не размочить дождем, не раскинет ветер, не расскажут люди.

Ковал кузнец Кузьма-Демьян[105] вековой венки.

И стала перед невестою-воробушкой чужая сторона, не изюмом, горем усаженная, не травой, слезами покрытая.

Узлюлекнула[106] воробушка:

— Понеситесь вы, ветры, с высоких гор! Подуйте, ветры, на звонки колоколы! Вы ударьте, звонки колоколы, по сырой земле, расшатайте пески, раздвоите сыру землю на могиле матери. Вы сшибите, звонки колоколы, гробову доску! Сдуйте тонко-белое полотенце!

Разомкните руки матери, раскройте глаза ее, поставьте ее на ноги. Не придет ли она, не прилетит ли к моему дню, к часу великому.

Летали воробушки, прятались-тулились рахманные под небесные ракиты, под мосты калиновые, нагуливались воробушки до любви[107].

Раскунежились, пошли они пляс плясать впрысядку, квасили, жарили друг дружку по носам. Один воробей в трубу скаканул, другой воробей в колодец упал, третий воробей невесть что наделал.

И падали кто как попало, бесхвостые, бесклювые, с неба на землю, — навалили горы воробьевые[108]. И ничего-то не родила гора, родила Воробьева гора один бел-горюч камень.

Заныло сердце, как малое дитяtko:

— Родимая моя матушка! Что же ты ко мне не подшатнешься? Призагуньте, призамолкните! Расступитесь, пропустите! Подшатнись-ка ты, посмотри на меня...

Засвирило все небо[109], красно, что жар.

Раскачён жемчуг — васильковая слеза катится на грудь, с груди на траву.

Перекаати-поле[110] унесла слезу.

Не разжала[111] невеста сердце матери: знать, отводила она волю, отнежила негу, открасовала свою девичью красу?

Сердце матери оборотливо, сердце матери обернется, — даст великое благословение.

И раскрылась могила, — стала мертвая.

А там разбили сорок сороков, тридцать три бочки, — и хлынуло пиво-мед пьяное-распьяное.

Все поля и луга, леса, перелески, заборы и крыши до корня смочены.

Первые петухи пропели — полночь прошла. И вторые петухи пропели — перед зарей. И третьи петухи пропели — на самой заре.

А они, неугомонные, справляли великий запой, хмельные ворушили, с пьяных глаз вили воробушки не воробьиное — гнездо ремезовое[112].

Догорела четверговая страстная свеча[113], закурились избы, — волоком от трубы до трубы стлались книзу сизые дымы.

Поросятки-викуны[114] рылись под грушей в сладких падалках[115], а их была целая груда — непочатый край.

Борода[116]

С горки на горку, от ветлы до ветлы примчался ильинский олень, окунул рога в речке[117], — стала вода холоднее.

Тын зарастает горькой полынью, не видать перелаза.

В садах наливаются яблоко: охота ему поспеть к Спасову дню.

И шумя висят, призаблекнувши, листья. Утомленные, клонятся никлые ветви.

Щебетливая птичка научает дитят перелетному делу. Один у нее лад на все прилучья[118]:

— Скоро в путь опять![119]

Дождется ль рябина студеных дней, нарядная, опустила она свои красные бусы к земле.

Шумный колос стелет по ниве сухое время.

На проходе страда. Подоспели дожинки.

Дожинают и вяжут последний сноп.

Уж кличут на Бороду.

И потянулся народ — белый мак — по селу на жнивье.

А Борода стоит, развевается, золотая, разукладная, много янтаря в ней, много усика долгого, тонкого, острого, как серп.

— Завивать, завивать бородушку!

Разогнули солому, посыпают земли: пусть мать — сыра земля покроет ее материнской пеленой на красное годье[120], на новое лето, на веселый дород.

— Нивка, отдай мою силу![121] — причитает-приговаривает жнея, красивая молодка Василиса в длинной белой рубахе с серпом на плече.

И катается молодка по жнивью, просит и молит свою ниву.

Несут девки межевые васильки, подвивают васильками Бороду, расцвечивают ее васильками — крестовой слезой. И кругом, как ковер, васильки.

Собрала Борода людей вместе, — поднялось на всю ниву веселье.

Запалили солому, заварилась отжинная каша.

— Нивка, отдай мою силу!

И идут хороводом вокруг Бороды, ведут долгие песни, перевиваются долгие песни пригудкой [122], и опять на широкий разливной лад хороводы.

Село за орешенье солнце, тучей оделась заря.

А Борода в васильках разгорается.

Берет коновода пляс.

Бросила молодка серебряный серп, подсучила рукава, сбила подпояску да из кона, пустилась в пляс.

Звенел ее голос, звенела песня.

Катил за облаками Илья, грохотал Громовник на своей колеснице, аж поджилки тряслись.

И сбегался хоровод, разбегался, отклонившись назад, запрокинув голову, — это ласточки быстро неслись по земле, черкая крыльями.

Седой ковыль, горкуя голубем[123], набирался гульбы, устилал, шевелил, шел по полю дальше и дальше за покосы, за болото, за зарю.

И зарей ничего так не слышно, только слышно, только слышно, только слышно, только чутко:

— Нивка, отдай мою силу!

От четырех птиц — железных носов[124], из-за темных каточин[125] вышла молодая медведица посмотреть на Бороду.

Купена-лупена[126] стращала медведицу тремя пальцами, ровно дите рогатой козой.

Вындрик-зверь[127] стремглав бежал за сине море.

И горел хоровод, пока солнце взошло.

Кикимора

На петушке ворот, крутя курносый носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо Кикимора [128] уселась и чистит бережно свое копытце.

— Га! — прыснул тонкий голосок, — ха! ищи! а шапка вон на жерди... Хи-хи!.. хи-хи! А тот как чебурахнулся, споткнувшись на гладком месте!.. Лебедкам-молодухам намяла я бока... Га! ха-ха-ха! Я Бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила. Аукнула-мяукнула под поцелуи, хи!.. — Вся затряслась Кикимора, заколебалась, от хохота за тощие животики схватилась.

— Тьфу, ты, проклятая! — отплевывался прохожий.

— Га! ха-ха-ха! — И только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, причуды сеять и до умору хохотать.

1903

Осень темная[129]

Бабье лето[130]

Унес жаворонок теплое время.

Устудились озера.

Цветы, зацветая пустыми цветами, опадают ранней зарей.

Сорвана бурей верхушка елки. Завитая с корня, опустила верба вялые листья. Высохла белая береза против солнца, сухая, небелая пожелтела.

Дует ветер, надувает непогоду.

Дождь на дворе, в поле — туман.

Поломаны, протоптаны луга, уколочены зеленые, вбиты колесами, прихлыстнуты плеткой.

Скоро минует гулянье.

Стукнул последний красный денек.

Богатая осень.

Встало из-за леса солнце — не нажать такого на свете — приобсусило лужи, сгладило скучную расторопицу[131].

По полесью мимо избы бежит дорожка, — мхи, шурша сырым серебром[132] среди золота, кажут дорожку.

Лес в пожаре горит и горит.

В белом на белом коне в венке из зеленой озими едет по полю Егорий[133] и сыплет и сеет с рукава бел жемчуг.

Изунистана жемчугом озимь.

И дальше по лесу вмиг загорается красный — солнце во лбу, огненный конь, — раздаст Егорий зверям наказы.

Лес в пожаре горит и горит.

И птицы не знают, не домекнуться певуньям, лететь им за море или вить новые гнезда, и водные — лебеди — падают грудью о воду, плывут:

— Вылынь[134], выплывь весна! — выют волну и плывут.

Богатая осень.

Летит паутина.

Катит пенье косолапый медведь, воротит колоды — строит мохнатый на зимовье берлогу: морозами всласть пососет он до самого горлышка медовую лапу.

Собирается зайчик линять и трясется, как листик: боится лисицы.

Померкло.

Занывает полное сердце:

«Пойти постоять за ворота!»

Тихая речка тихо гонит воды.

По вечеру плавно вдоль поля тянется стая гусей, улетает в чужую сторонку.

— Счастлива дорожка!

Далеко на селе песня и гомон[135]: свадьбу играют.

Хороша угода, хорош хмель зародился — золотой венец.

Богатая осень.

Шум, гам, — наступает грудью один на другого, топают, машут руками, вон сама по себе отчаянно вертится сорвиголова молодуха — разгарчиво лицо, кровь с молоком, вон дед под хмельком с печи сорвался...

Кипит разгонщица каша.

Валит дым столбом.

Шум, гам, песня.

А где-то за темною топью конь колотит копытом.

Скрипят ворота, грекают дверью — запирает Егорий вплоть до весны небесные ворота.

Там катается по сениям последнее времечко, последний часок, там не свое житье-бытье испроведовают[136], там плачут по русой косе, там воля, такой не дадут, там не можно думы раздумывать...

«Ей, глаза, почему же вы ясные, тихие, ненаглядные не источаете огненных слез?»

Мать по-темному[137] не поступит, вернет теплое время...

Сотлело сердце чернее земли.

— Вернитесь!

И звезды вбиваются в небо, как гвозди, падают звезды.

Змей

Петьку хлебом не корми, дай только волю по двору побегать. Тепло, ровно лето. И уж закатится непоседа, день-деньской не видать, а к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать, — свернется сурком, только посапывает.

Помогал Петька бабушке капусту рубить.

— Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь, — твердит таратора[138] да рубит, что твой заправский: так вот себе и бабушке по пальцу отрубит.

А кочерыжки, как ни любил лакомка, хряпал не очень много, а все прибирал: сложит в кучку, выждет время и куда-то снесет. Бабушке и внедомек: знай похваливает, думает себе, — корове носит.

Какой там корове! Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, железом кованный, хранила в нем бабушка смертную рубашку[139], туфли без пяток, саван, рукописание да венчик, — собственными руками старая из Киева от мощей принесла, батюшки-пещерника[140] благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерыжки.

«На том свете бабушке пригодятся, сковородку-то лизать не больно вкусно...»

Случилось на Воздвиженье, понадобилось бабушке в сундучок зачем-то, открыла бабушка крышку да так тут же на месте от страха и села.

А как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерыжки все до одной из сундучка повыбрасывала, окропилась святою водой, да силен, верно, окаянный — змей треклятый.

Стали они нечистые, эти Петькины кочерыжки, представляться бабушке в сонном видении: встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. Притом же и дух нехороший завелся в комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, ни

монашкой [141], ни скипидаром.

А Петька диву дается, куда из сундука кочерыжки деваются, и нет-нет да и подложит.

«Пускай себе ест, корове и сена по горло».

Думал пострел[142], съедает их бабушка тайком на сон грядущий.

Бабушка на нечистого все валила.

И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулена[143] змеев пускать, понасажал их тьму-тьмущую по всему саду, и много хвостов застряло за дом.

Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла ему в голову одна хитрая хватка:

«Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов крылья, и всякая стрекоза и муха — все от крыла, а почему змей летает?»

И отбился от рук мальчонка, ходит, как тень, не ест, не пьет ничего.

Уж бабушка и то и другое, — ничего не помогает, двенадцать трав не помогают!

«А летает змей потому, что у него дранки и хвост!» — решает наконец Петька и, не долго думая, прямо за дело: давно у Петьки в голове вертело полетать под облаками.

Варила бабушка к празднику калиновое тесто — удалась калина, что твой виноград, сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва да и только. Вот Петька этим самым тестом-халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке:

— Я, — говорит, — бабушка, змей, на тебе, бери клубок да пойдем подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит.

А старая трясется вся, понять ничего не может, одно чувствует, наущение тут бесовское, да так, как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому, — взяла она обеими руками клубок Петькин, пошла за Змием подсаживать его, окаянного.

Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерыжка, хоть и малюсенькая, так крантиком, а все же она, нечистая, — и запекаются от страха губы, отшибает всю память.

Влез Петька на бузину.

— Разматывай! — кричит бабушке, а сам как сиганет и — полетел, только хвост зачиклечился [144].

Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит.

— Пала я тогда замертво, — рассказывала после бабушка, — и потоптал меня Змей лютый о семи голов ужасных и так всю царапал кочерыжкой острой с когтем и опачкал всю, ровно тестом, липким чем-то, а вкус — мед липовый.

На Покров бабушка приобщалась святых тайн и Петьку с собой в церковь водила: прихрамывал мальчонка, коленку, летавши, отшиб, — хорошо еще, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул.

«Конечно, все дело в хвосте, отращу хвост, хвачу на седьмое небо уж прямо к Богу либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь...» [145] — Петька усердно кланялся в землю и, будто почесываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змеев хвостик.

Бабушка плакала, отгоняла искушения.

Разрешение пут[146]

— Иди к нам, бабушка, иди, пожалуйста, глянь: наша Вольга уж твердо на ножки встает!

Старая вещая знает: с веревкой дите народилось, крепко-накрепко запутаны ноги веревкой, надо веревку распутать — и дите побежит.

Старая вещая знает, ножик вострит.

Девочка ручками машет, смеется, а ротик зубатый — зубастая щука, знай тараторит...

— Да стой же, постой! — Тянутся жесткие пальцы к рубашке, зацепила старуха за ворот, разрывает тихонько.

Заискрились синие глазки, светится тельце.

Старая вещая знает, — видит веревку, шепчет заклятье, режет:

— Пунтилей, Пунтилей[147], пути распутай, чтобы Вольге ходить по земле, прыгать и бегать, как прыгает в поле зверье полевое, а в лесе лесное. Сними человечье проклятье с младенца...

И девочка ножками топ-топ топочет. Вот побежит... не поспеть и серому волку!

— Бабушка, ты за плечами распутай, бабушка... чтобы летать...

Старая вещая знает. Ножик горит под костлявой землистой рукой.

Девочка вся задрожала... Шепчет старуха:

— Будет летать.

Плача[148]

Красное солнце, высоко ты плаваешь в синих сумрачных реках небес — там волнистые поля облаков неустанно бегут.

И ты, сын красного солнца, белый мой свет, ты озаряешь мать-землю.

И ты, ухо ночи — подруга-луна, ты тихо восходишь, идешь над землею, следишь за ростом трав, за шумом леса, за плеском рек, за моим сном.

И ты, семицветная радуга, бык-корова небесных полей, ты жадно пьешь речную студеную воду.

Пожелайте счастья мне от матери-земли, сколько на небе осенних звезд!

Пожелайте счастья мне от светлого востока, сколько белых цветов земляники!

Пожелайте счастья мне от синих сумерок запада, сколько алых лепестков диких роз!

Пожелайте счастья мне от ледяного севера, сколько зеленых цветов смородины!

Пожелайте счастья мне от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна!

Пожелайте счастья мне от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне!

Пожелайте счастья мне от дремучего леса, сколько скрыто вольных птиц!

Пожелайте счастья мне от темного бора, сколько зреет ягод в бору!

Пожелайте счастья мне от топких болот, сколько сосен стоит кругом!

Пожелайте счастья мне, солнце! белый свет! луна, радуга!

Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия ног.

Троецыпленница[149]

С дерева листьё опало[150], раздувается ветром.

По полям ходит ветер, все поднимает, несет холод и дождик.

Протяжная осень.

Запустели сады, улетают последние птицы. Приунывши, висят сорные гнезда.

Попрятались звери. Некому вести принести на хвосте: скрылся в нору хомяк, залег лежебока.

Намутили воду дожди, не состояться воде[151], река — половодье.

И по тинистым ямам, где раки зимуют, сонные бродят водяники.

Протяжная осень.

Все пути и дороги исхожены, — невылазная грязь.

Черти торят пути, не траву — трын-траву очертя голову[152] косят да на межовом бугорке, на черепках, в свайку играют.

Волей-неволей, без прилуки[153] летают стадами с места на место черные галки, падают наось, кричат. Воробьи, гоняя собак, почувывркивают.

Пошла непогода. Ненастье.

Бедовое время[154] в теплой избе.

В свины-поздни[155], лишь засмеркалось, трубой ввалились[156] в избу непорочные благоверные вдовы.

Наглухо заперли двери.

Бросили вдовы свои перекоры, прямо с места уселись за стол.

На Хватавщину[157] вдовы угощались блинами — поминали родителей, на Семик[158] собирали сохлые старые цветы, а теперь черед и за курицей: не простая курица —

троецыпленница . Троецыпленница — трижды сидела на яйцах, три семьи вывела: пятьдесят пять кур, шестьдесят петухов — добыча немалая!

Чинно распили вдовы бутылку церковного, поснимали с себя подпояски, обмотали подпояской бутылку и пустую засунули Кузьме за пазуху.

Долговязый Кузьма, по-бабьи повязанный, петухом петушится, улещает словами, потчует вдов наповал.

И в полном молчании не режут — ломают курицу вдовы, едят по-звериному, чавкают.

Так по косточкам разберут они всю троецыпленницу да за яичницу.

А она, глазунья, и трещит и прыщет на жаркой сковородке, обливается кипящим душистым салом.

Досыта, долго едят, наедаются вдовы.

Облизнут все пальчики да с заговором вымоют руки и до последней пушинки все: косточки, голову, хвост, перья и воду соберут все вместе в корчагу.

И зажигаются свечи.

Мокрыми курицами высыплют вдовы с корчагой на двор.

Вырыли ямку, покрыли корчагу онучей, закапывают курочку.

И все, как одна, не спеша, с пережевкой, с перегнуской затянули вдовы над могилкой куриную песню.

Песней славят-молят троецыпленницу.

Тут Кузьма, не снимая платка, избоченился.

Не подкузьмит Кузьма, вьет из себя веревки, хочешь, пляши по нем, только держись!

И разводят вдовы бобы[159], кудахчут, как куры, алалакают[160].

Обдувает холодом ветер, помачивает дождик.

Вцепляется бес в ребро, подает Водяной человеческий голос.

Темь, ни зги. Скоро петух запоеет.

Мольба умолкает. В избе тушат огни.

Протяжная осень.

На задворках щенята трепали онучи, потрошили священные перья троецыпленницы[161].

Растянувшись бревном, гнал до дому Кузьма, кукарекал.

А дождь так и сеет и сеет.

Протяжная осень.

Ночь темная[162]

Не в трубы трубят, — свистит ветер-свистень, шумит, усбушевался. Так не шумела листьями липа, так не мели метлами ливни.

Хунды -трясучки[163] шуршали под крышей.

Не гавкала[164] старая Шавка, свернувшись, хоронилась Шавка в сторожке у седого Шандыря — Шандырь-шептун[165] пускал по ветру нашепты, сторожил, отгонял от башни злых хундов.

В башне шел пир: взбунтовались ухваты, заплясала сама кочерга, Пери да Мери, Шуды да Луды[166] — все шуты и шутихи задавали пляс, скакали по горнице, инда от топота прыгал пол, ходила ходуном половица.

Бледен, как месяц, сидел за столом Иван-царевич.

За шумом и непогодой не было слышно, сказал ли царевич хоть слово, вздохнул ли, посмотрел ли хоть раз на невесту царевну Копчушку.

В сердце царевны уложил ветер все ее мысли.

Прошлой ночью царевне нехороший приглязился сон, но теперь не до сна, только глазки сверкают.

Ждали царевича долго, не год и не два, темные слухи кутали башню. Каркал Кок-Кокоряшка [167]: «Умер царевич!» А вот дождалась: сам прилетел ясный сокол.

Всем заправляла Коза: известно, Коза — на все руки, не занимать ей ума — и угостить, и позабавить, и хохотать верховая.

А ветер шумел и бесился, свистел свистень, сек тучи, стрекал[168] звезду о звезду, заволакивал темно, гнул угрюмо, уныло густой сад, как сухую былинку, и колотил прутья о прутья.

Ходила ведьма Коца вокруг башни, подслушивала.

Плотно в башне затворены ставни, — чуть видная щелка. Покажется месяц, западет в башню и бледный играет на мертвом — на царевиче мертвом.

Давным-давно на серебряном озере у семи колов лежит друг его, серый Волк, и никто к серому не приступится. Отгрызли серому Волку хвост, — не донес серый Волк до царевича воду! — и рядом с Волком в кувшинчиках нетронутая стоит живая вода и мертвая: не придет ли кто, не выручит ли серого! А Иван-царевич за крепкими стенами, и никто к нему не приступится. Ивана-царевича — уж целая ночь прошла — за крепкими стенами повесили.

— Пронюхает Коза, догадается... скажет царевне, возьмет, вспрыснет царевну: «С гуся вода, с лебедя вода...[169]» — тут ведьма Коца поперхнулась, крикнула Соломину-воромину.

Соломина-воромина тут как тут.

Села Коца на корявую да к щелке. Отыскала сучок,хватила безымянным пальцем сучок — украла язык[170] у Козы:

— Как сук ни ворочается, как безымянному пальцу имени нет, так и язык не ворочайся во рту у Козы.

И вмиг онемела Коза, испугалась Коза, бросила башню. Ушла Коза в горы.

Черви выточили горы. Червей поклевали птицы. Птицы улетели за теплое море.

Пропала Коза. И никто не знает, что с Козой и где она колобродит рогатая.

А ведьма Коцца вильнула хвостом и — улизнула: ей, Коцце, везде место!

И кончился пир.

Пери да Мери, Шуды да Луды — все шуты и шутихи нализились до чертиков, в лежку лежали.

Хунды-трясучки трясли и трепали седого шептуна-Шандыря. Мяукала кошкой Шавка от страха.

Сел царевич с Копчушкой-царевной, поехали.

Едут.

А ночь-то темная, лошадь черная.

Едет-едет царевич, едет да пощупает: тут ли она?

Выглянет месяц. Месяц на небе, — бледный на мертвом играет. Мертвый царевич живую везет.

Проехали гремуч вир[171] проклятый.

А ночь-то темная, лошадь черная.

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет, — говорит, — не боюсь.

Проехали чертов лог[172].

А ночь-то темная, лошадь черная.

И опять:

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет, — говорит, — не боюсь, — а сама ни жива ни мертва.

У семи колов на серебряном озере, где лежит серый Волк, у семи колов как обернется царевич, зубы оскалил, мертвый — белый — бледный, как месяц.

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет...

А ночь темная, лошадь черная...

— Ам!!! — съел.[173]

Снегурушка

Не стучалась, не спрашивала, шибко растворила она мои двери, такая совсем-совсем еще крохотная с белыми волосками.

— Вставай! — крикнула, а синие глазки так и играли, снежинки не глазки.

— Снегурушка!

— Снегурушка.

— Ты мне принесла?..

— Морозу! — И на пальчиках белый сверкнул у Снегурушки первый снежок, а глазки так и играли, снежинки не глазки.

— Снегурушка, возьмешь ты меня? Мы поедем шибко-шибко на санках с горки на горку...

— Вот как возьму! — Она протянула свои светлые ручки и, крепко обняв, прижимала носик и губки к моим губам.

— А кого еще мы возьмем?

— Серого волка.

— А еще?

— Ведмедюшку.

Я поднес Снегурушку к моему окну, в окно посмотреть.

Шел снег белый, первый снежок.

— Шатается, — показала пальчиком Снегурушка, вытянула губки, — ветер... ветрович шатается.

— А когда перешатается, мы и покатым на санках, шибко-шибко с горки на горку...

— По беленькой травке?

— При месяце.

— Месяц будет белый, в беленьком платочке... — И она твердо спрыгнула наземь.

— Так ты не забудешь?

— Не забуду.

— Прощай!

— Прощай, Алалей.

И так же шибко захлопнулись двери — Снегурушка скрылась.

Шел снег белый, первый снежок.

Зима лютая[174]

Корочун[175]

Дунуло много, — буйны ветры[176].

Все цветы привозблекли, свернулись.

Вдарило много, — люты морозы[177].

Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб[178], как белый цветок.

Катят и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет: ни входу, ни выходу.

И ветер Ветреник[179], вставая вихорем, играет по полю, врывается клубами в теплую избу: не отворяй дверь на мороз!

Царствует дед Корочун.

В белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, трясая сивой большой бородой, Корочун ударяет дубиною в пень, — и звенят злющие зюзи[180], скребут коготками морозы, аж воздух трещит и ломается.

Царствует дед Корочун.

Коротит дни Корочун, дней не видать, только вечер и ночь.

Звонкие крепкие ночи.

Звездные ночи, яркие, все видно в поле.

Щелкают зубом голодные волки. Ходит по лесу злой Корочун и ревет — не попадайся!

А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери без попяту, без завороту[181].

Непокорного — палкой, так что секнет[182] надвое кожа.

На изменника — семихвостая плетка, семь подхвостников: раз хлестнет — семь рубцов, другой хлестнет — четырнадцать.

И сыплет и сыплет снег.

Люты морозы, — глубоки снега.

Не скоро Свету — солнцу родиться, далек солноворот. Хорошо медведю в теплой берлоге, и в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок.

А дни все темней и короче.

На голодную кутью[183] ты не забудь бросить Деду первую ложку, — Корочун кутью любит. А будешь на Святках рядиться, нарядись медведем, — Корочун медведя не съест.

И разворочался, топает, месяц катает по небу, стучит неугомонный, — Корочун неугомонный.

Старый кот Котофей Котофеич, сладко курлыкая, коротает Корочуново долгое время, — рассказывает сказки.

Медведюшка

1

Среди ночи проснулась Аленушка.

В детской душно. Нянька Власьевна храпит и задыхается. Красная лампадка нагорела: красное пламя то вспыхнет, то погаснет.

И никак не может заснуть Аленушка: страшно ей и жарко ей.

«Папа поздно пришел, — вспоминается Аленушке, — я собиралась спать, папа и говорит: „Смотри, Аленушка, на небо, звезды упадут!“ И мы с мамой долго стояли, в окно глядели. Звезды такие маленькие, а золотой водицы в них много, как в брошке у мамы. Холодно у окна, долго нельзя стоять. Когда идешь с папой к ранней обедне, тоже холодно: колокол звонит, как к покойнику. Власьевна вчера рассказывала, будто покойник Иван Степанович рукой во сне ее ловит... А звезд много на небе, звезды разговаривают, только не слышать. Дядя Федор Иванович говорит, будто летает он к звездам и ночью слушает, как звезды поют тонко-тонко. Днем их нет, днем они спят. Тоже и я полечу, только бы достать золотые крылья... А папа подошел и говорит: „Аленушка, звезда падает!“ И золотая ленточка долго горела на небе и потом пропала. Холодно звездочке, где-нибудь лежит она, плачет, — моя звездочка!»

Аленушке так страшно и так жалко звездочки, заныла Аленушка.

— Попить, няня, по-пи-ть!

И когда Власьевна-нянька подает Аленушке кружку, Аленушка жадно пьет, вытягивая губки.

Теперь Аленушка свернулась калачиком и заснула.

И кажется ей, летит она куда-то к звездам, как летает дядя Федор Иванович, попадаются ей навстречу звездочки, протягивают свои золотые лапки, сажают ее к себе на плечи и кружатся с ней, а месяц гладит ее по головке и тихо шепчет на самое ушко:

«Аленушка, а Аленушка, вставай, солнышко проснулось, вставай, Аленушка!»

Аленушка щурит глазыньки, а все еще кажется ей, будто летит она к звездам, как дядя Федор Иванович.

— Что тебя не добудишься, вставай скорее! — Это мама, мама наклонилась над кроваткой, щекочет Аленушку.

2

Аленушкина звездочка долго летала и упала наконец в лес, в самую чащу, где старые ели сплетаются мохнатыми ветвями и страшно гудят.

Проснулся густой, сизый дым, пополз по небу, и кончилась зимняя ночь.

Вышло и солнце из своего хрустального терема нарядное, в красной шубке, в парчовой шапочке.

Прозрачная, с синими грустными глазками, лежит Аленушкина звездочка неподалеку от заячьей норки на мягких иглах: вдыхает мороз.

А солнышко походило-походило над лесом и ушло домой в свой хрустальный терем.

Поднялись снежные тучи, залегли по небу, стало смеркаться.

Дребезжащим голосом затянул ветер-ворчун свою старую зимнюю песню.

Глухая метель прискакала, глухая кричит.

Снег заплясал.

Дремлет у заячьей норки бедная звездочка, оттаявшая слезинка катится по ее звездной щеке и замерзает.

И кажется звездочке, она снова летит в хороводе с золотыми подругами, им весело и хохочут они, как хохочет Аленушка. А ночь хмурая старой нянькой Власьевной глядит на них.

3

Выставляли рамы.

Целый день стоит Аленушка у раскрытого окна.

Чужие люди проходят мимо окна, ломовые трясутся, вон плетется воз с матрацами, столами и кроватями.

«Это на дачу!» — решает Аленушка.

А небо голубое, чистое, небо Аленушке ровно улыбается.

— Мама, а мама, а когда мы на дачу? — пристает Аленушка.

— Уберемся, деточка, сложим все и поедем далеко, дальше, чем прошлым летом! — сказала мама: мама шьет халатик Леве, и ей некогда.

«Поскорей бы уехать!» — томится Аленушка.

На игрушки и смотреть Аленушке не хочется, такие деревянные игрушки скучные. Игрушкам тоже зима надоела.

Долго накрывают на стол, стучат тарелками.

Долго обедают, Аленушке и кушать не хочется.

Приходит дядя Федор Иванович, говорит с мамой о каких-то стаканах, смеется и дразнит Аленушку.

А Аленушка слоняется из угла в угол, заглядывает в окна, капризничает, даже животик у ней разболелся.

Не дожидаясь папы, уложили ее в кроватку.

И сквозь сон слышит Аленушка, как за чаем папа и мама и дядя Федор Иванович в столовой толкуют об отъезде на дачу в лес дремучий, где деревья даже в доме растут, над крышей растут. Вот какие деревья!

Головка у Аленушки кружится.

Ей представляется большая зеленая елка, ярко освещенная разноцветными свечками, в бусах, в пряниках, елка идет на нее, а из темных углов крадутся медведи белые и черные в золотых ошейниках, с бубенцами, с барабанами, и падают, летают вокруг медведей золотые звездочки.

«А где та, моя, где моя звездочка? — вспоминает Аленушка. — Дядя сказал, вырастет из нее такая же девочка, как я, или зверушка. И что это за такая зверушка?»

— Ну что, Аленушка, как твой животик? — Это папа, папа тихонько наклонился над Аленушкой, крестит ее.

— Не-т! — сквозь сон пищит Аленушка.

— Выздоровливай скорей, деточка, на дачу завтра едем, горы там высокие, а леса дремучие!

Аленушка перевернулась на другой бок, крепко-крепко обняла подушку и засопела.

4

Как-то сразу замолкли вихри, и разлившиеся реки задремали.

Зарделись почки, кое-где выглянули первые шелковые листики.

Седые, каменные ветки оленьего моха бледно зазеленелись, разнежались; поползли на цепких бархатисто-зеленых лапках разноцветные лишай; медвежья ягода покрылась восковыми цветочками.

Птицы прилетели, и в гнездах запищали маленькие детки-птички.

Проснулась у заячьей норки и Аленушкина звездочка. За зиму-то вся покрылась она шерстью, как медведюшка. На лапках у ней выросли острые медвежьи коготки, и стала звездочка не звездой, а толстеньким, кругленьким медвежонком.

Хорошо медвежонку прыгать по пням и кочкам, хорошо ему сучья ломать, наряжаться цветами.

Скоро научится он рычать по-медвежьи и пугать маленьких птичек.

— Сидите, детки, в гнездышках, — учит мать-птица, — медведюшка ходит, укусить не укусит, а страху от него наберетесь большого.

Целыми днями бродит медвежонок по лесу, а устанет — ляжет где-нибудь на солнышке и смотрит: и как муравьи с своим царством копошатся, и как цветочки да травки живут, и как мотыльки резвятся, — все ему мило и любопытно.

Полежит, поотдохнет медвежонок и пойдет. И куда-куда не заходит: раз чуть в болоте не завяз, насилу от мошек отбился, и смеялись же над ним незабудки, мхи хохотали, поддразнивали. А то повстречал чудовище... птицы сказали, —

охотник .

— Человека остерегайся, глупыш! — долбил дятел: — Человеки тебя в цепь закуют. Вон Скворца Скворцовича изловили, за решеткою теперь, воли не дают. Летал к нему: «Жив, пищит, корму вдосталь, да скучно». У них все вот так!

А медвежонок и горя мало, прыгает да гоняется за жуками, и только, когда багровеет небо и серые туманы идут дозором и месяц выходит любоваться на сонный лес, засыпает он где попало и до утра дрыхнет.

Как-то медвежонок и заблудился.

А ночь шла темная, душная.

Птицы и звери ни гугу в своих гнездах и норках.

Ходил медвежонок, ходил, и так вдруг страшно стало, принялся выть, — а голоса не подают. И собрался уж под хворост лечь, да вспомнился дятел.

«Еще сцапают да в цепь закуют, пойду-ка лучше!»

По лесу пронесся долгий, урчащий гул, и листья затряслись, ровно от ужаса. Голубые змейки прыгали на крестах елей, и что-то трескалось, билось у старых, рогатых корней.

Как угорелый, пустился медвежонок куда глаза глядят, бежал-бежал, исцарапался, дух перевести не может, хватать — голоса, огонек. Обрадовался.

«Птичье гнездо!» — подумал.

А огонек разгорался, голоса звенели.

Раздвинул медвежонок кусты и видит: огромный светлый зал, много чудовищ-охотников, едят охотники и что-то лопочут.

— Ты, Аленушка, — говорит мама, — одна в лес не ходи, там тебя медведи съедят. Дядя Федор Иванович намерен пошел на охоту, а ему медвежонок навстречу, крохотный, с тебя!

— Папа, а папа, — обрадовалась Аленушка, — поймай ты мне этого медвежонка, я играть с ним буду!

А медвежонок, как услышал, зарычал и вышел.

— Смотрите, смотрите, — кричала мама, — вон медвежонок!

Тут все бросились из-за стола, папа суп пролил.

— Медведюшка, иди, иди к нам, ужинать с нами, медведюшка! — прыгала Аленушка.

И медведюшка подошел, нюхнул, — очень уж понравилась ему беленькая девочка.

И Аленушке медведюшка очень понравился: усадила она его рядом с собою, гладила мордочку, тыкала в нос ему белый хлеб. А он ласково смотрел в ее светлые глазки, сопел: так устал и напугался.

— Ну, вот и медвежонок у тебя, играй с ним, а теперь отправляйся в кроватку, и так засиделась!

— И он со мною? — робко спросила Аленушка.

— Нет уж, иди одна, его к кусту папа привяжет!

Мама сердилась на папу за суп, и Аленушка, едва сдерживая слезы, одна пошла в детскую.

Долго не спалось ей, все она думала о медвежонке, как они вместе в лес будут ходить, как ягоды собирать, — бояться некого, никто с медвежонком не съест.

— Медведюшка, миленький мой медведюшка, бедненький! — шептала Аленушка и засыпала.

5

Как проснется Аленушка, прямо бежит к медведюшке, отвяжет его от куста и чего-чего только не делает: и тискает его, и надевает папину старую шляпу, и садится верхом или долго водит за лапку и разговаривает.

Медведюшка все понимает, только говорить не может, рычит.

Так незаметно проходят дни.

С Аленушкой хорошо медведюшке, а привязанный он тоскует, вспоминает птиц и зверей разных.

Подошла осень, заволодели ночи. Уж изредка топили печи.

Медведюшка слышал, как папа и мама разговаривали об отъезде домой, да и Аленушка брала его за лапку, гладила, целовала в мордочку.

— Скоро один останешься, — говорила она медведюшке, — папа и мама не хотят тебя брать, ты кусаться будешь.

А сегодня мама сказала Аленушке, чтобы, она не очень-то водилась с медведюшкой.

— Дядя вон погладил твоего медведюшку, а он его за нос и цап!

«Уж не удрать ли в лес, а то убьют еще!» — раздумывал медведюшка, и так ему было тоскливо, и больно, и жалко Аленушку.

Собирались уезжать.

Вечером приехали гости, и мама играла на рояли.

Когда же дядя запел, начал и медведюшка подвывать из куста. И вдруг расвирепел, оборвал ошейник да прямо в зал.

Все страшно перепугались, словно пожара какого, бросились ловить медвежонка, а когда поймали его, тяпнул он маму за палец.

Тут все закричали.

— Мой медведюшка, не троньте его! — визжала Аленушка.

А медведюшку связали и потащили.

— Куда вы дели моего медведюшку? — всхлипывала Аленушка, вытягивала длинно-длинно свои оттопырки-губки.

— Ничего, деточка, — утешала Власьевна, — в лес его пустят ходить, там ему способнее

будет. Спи, Алenuшка, спи, утресь домой поедem, игрушки-то поди соскушнулись по тебе!

— Не надо мне игрушков, — медведюшка мо-ой, какие вы все-е!

Личико ее покраснелось, слезы так и бегут...

6

Частые-частые звезды осенние из серебра, золотые тихо перелетают, льются по небу.

Месяц куда-то ушел.

Трещат сучья. Улетают листья, гудят.

— Медведюшка идет, прячьтесь скорее! — перекликаются птицы и звери.

С шумом раздвигая ветки, выходит медведюшка: на шее у него оборванная веревка, и торчит клоками шерсть. Насупился.

Так подходит медведюшка к берлоге, разрывает хворост, спускается в яму, рычит:

— Спать залягу да поотдохну малость!

И раздается по всему лесу храп: это медведюшка лапу сосет, спит.

Стаями выпархивают птицы, собираются в стаи, улетают птицы в теплые страны, покидая холод, оставляя старые гнезда до новой весны.

Лампадка защурилась, пыхнула и погасла.

Серый утренний свет тихомолком подполз к двойным рамам окон, заглянул украдкой в детскую, и ночная тьма поседела и медленно побрела по потолку и стенам, а по углам встали тени — столбы мутные, какие-то сонные.

Котофей Котофеич, черный бархатный кот, приподнялся на своих белых подушечках-лапках, изогнулся и, сладко зевнув, прыгнул к Алenuшке на кровать.

Алenuшка тарасила заспанные глазаынки: уж не медведюшка ли бросился съесть ее?

А Власьевны нет...

На кухне глухо стучат и ходят.

Кот подвернул лапки, вытянул усатую мордочку и запел.

Теперь совсем не страшно.

«Господи, — мечтает Алenuшка, — хоть бы Рождество поскорее, а там и Пасха, к заутрене пойду, на Пасху хорошо как!»

Опухшие за ночь губки серьезничают, а личико светится, и улыбается Алenuшка, словно вот уж волхвы идут со звездой, большущую тащат елку, в пряниках.

1900

Морщинка[184]

1

В чистом поле жили-были две мышки: Алишка-кургузка и Морщинка-долгоуска. Старая Алишка ходила на промысел добывать себе на день пищу, а молоденькой наказывала, чтобы сидела себе дома, убирала постельки.

Постельки у мышек были из листьев, подушки из цветочков, одеяльца из душистой травки.

Хорошо было Морщинке в тесной норке, да не весело. Крошечное окошечко из мотыльковых крылышек пропускало чуть маленький желтый светик. Темно было в норке.

Усядется мышка на сырой подоконник, грызет морковку и думает либо усиком по стеклышку выводит тонкими буквами

чистое поле [185].

Никогда не видала Морщинка чистого поля.

В теплый полдень возвращалась с добычи Алишка, приносила еды, угощала Морщину.

Сидели мышки, в молчании кушали.

А потом в постельки ложились.

— Тетушка, тетюшка, расскажи мне про чистое поле, — приставала Морщинка-долгоуска.

— Про чистое поле? — зевала Алишка, трудно было кургузке рассказывать после обеда, — чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, за полем топкое болото, там живут незабудки, за болотом дремучий лес, за лесом быстрая речка, за речкой гора-курган, на горе Забругальский замок.

— Ой, ой, как страшно, вот бы туда! — пищала Морщинка.

— А Носатая птица?[186]

— Какая Носатая?!

— А такая, сидит на болоте. Словит тебя, да и скушает.

— А я не поддамся!

— Один такой не поддастся! — отстраняла сердито сонная Алишка.

В щелку дверки проходил ветерок, приносил с поля пыльцу душистую. Мышек морило.

— Тетушка, а тетюшка, расскажи мне про Носатую птицу!

Но уж тетюшка задавала храп по всю ивановскую.

2

Раз замешкалась старая Алишка в поле. Морщинка одна осталась, убрала Морщинка постельки и скуки ради зубки точила. Точила-точила и выглянула из норки. И ей понравилось. Повела Морщинка долгим усиком — да в чистое поле.

Вот она, листик за листик, кусток за кусток, мимо Носатой птицы, мимо чудищ, по болоту, по лесу, по речке на горку-курган и очутилась у Забругальского замка.

Долго ли, коротко ли — пришла Алишка домой, принесла кулек разных съедобных, хватать-похватать, а Морщинки нет в норке.

Не пила старая с горя, не ела, достала из-под подушки карты, стала гадать.

— На кого ты меня покинула! — плакала Алишка, утиралась платочком из листьев.

Выходило по картам такое, что страсть: и Клешня, и Носатая птица, и какие-то раки...

— На кого ты меня покинула! — плакала Алишка, да так и проплакала вплоть до глубокой ночи.

А Морщинка походила-походила вокруг страшного замка, шмыгнула в ворота и попала в чистую кладовую.

А в чистой кладовой чего-чего не было: и пирожки слоеные сладкие, и ветчина с горошком, и мыло розовое, и разноцветные свечи.

Всего Морщинка отведала. Досыта наелась, села в уголок, посидела, запела песенку да подумала.

И уходить неохота. Не жизнь, а масленица!

Взяла мышка свечку под мышку, да и за ворота.

С горки по речке, с речки по лесу, из леса в болото, с болота по полю мимо Носатой птицы, мимо чудищ — прибежала домой Морщинка, говорит Алишке:

— Тетушка, тетюшка, что мы в этой своей противной норке холодаем да голодаем. Пойдем-ка в Забругальский замок.

— Да ты что, с ума, что ли, спятила? — всплеснула руками Алишка.

А Морщинка на тетюшку: рассказала ей о замке, о зубчатых стенах, и какая остроносая башня, и какие ворота, рассказала про чистую кладовую и про все сладкие лакомства.

Не тут-то было. Старую не уломаешь.

Ела старая свечку, похваливала, на своем стояла.

— А Носатая птица меня и не скушала! — хвасталась Морщинка.

— А Клешня одноглазая?

— Какая одноглазая?!

— А такая, в речке живет. Сцапает тебя, защемит головку в колени да всю с косточками и проглотит.

— Ан не проглотит! — пицала Морщинка.

Утро вечера мудренее.

Тихо лежали мышки в постельках.

Тихий дождик в поле шел, кропил цветочки, да травки, да ягодки.

— Тетушка, а тетушка, расскажи мне про Клешню одноглазую!

А тетушка уж седьмой сон видела, горы городила.

3

Еще до свету подняла Алишка Морщину с постельки. Ночью старой сон снился: приходила к ней Коза — золотые рога, хороводилась.

Видеть Козу во сне — хорошо, а Козла — неприятность.

Принарядилась старая, и Морщинка принарядилась. Долго мышки вертелись у зеркальца, зеркальце у мышек — росинка, охорашивались мышки.

Уж солнце взошло, когда вышли мышки из норки в свой опасный путь.

Полям шли хорошо.

Чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, от ночного дождя глазки у травок горели и развевались кудряшки на синих цветочках.

— Тетушка, тетушка, чистое поле! — пицала Морщинка.

Старая застилась лапкой.

— Тетушка, сколько цветочков на поле!

Старая думала думу: голубело под носом топкое болото.

Мышки притихли, мышки согнулись.

— Чего вы тут шляетесь! — окрикнула Носатая птица.

Большие были передряги в болоте. Ползком ползли мышки.

— Мы только в замок, — шептала Алишка: колотилось у мышек сердечко.

— А! Так вы в замок... — разинула клюв Носатая птица.

Едва улизнули от Птицы.

— Наказание с тобою, — ворчала Алишка, оступаясь о кочки.

В тревоге достигли мышки дремучего леса.

Откуда ни возьмись Коза — золотые рога.

— Куда, — говорит, — вы, мышки, путь держите?

Сели мышки в холодок под кустик, все Козе рассказали.

— Ну, идите, Бог с вами, только моих козляток не трогайте! — погрозила Коза пальчиком.

— Да уж не тронем, что ты, Коза! — в голос сказали мышки, попрощались с Козой и пошли себе дальше.

А дальше лелеялась быстрая речка.

Сели мышки в лодочку, поехали. Ехали, мочили в воде лапки, перемигивались с рыбками.

Хорошо на речке, вода студеная, любо поплавать под солнышком.

Захотелось мышкам выкупаться в речке.

И только что собрались они причалить к берегу, Клешня цап-царап! — прямо на мышек и защемила им хвостики.

Восплакались мышки:

— Пусти, — говорят, — пусти нас, одноглазая!

— Не пущу, — говорит, — откупитесь.

Мышки и серебра ей, и золота, и яхонтов.

— Не надо, — говорит, — мне ни серебра вашего, ни золота, ни яхонтов.

Насилу от Клешни отбоярились, пообещали ей полцарства отдать.

Целое полцарство мышиное!

Села Клешня на рака, нырнула в речку, а мышки на горку полезли.

— Пес ее знает! — оправлялась Алишка: закрутили раки ушки у старой. — С тобой, Морщинка, еще и последний хвост потеряешь.

А Морщинка торопит:

— Тетушка, тетюшка, вон замок белеет, вон остроносая башня!

Карабкались мышки, карабкались, помаленьку и влезли.

Обошли мышки вокруг страшного замка, изловчились — шмыгнули в ворота и прямо в чистую кладовую попали.

А в чистой кладовой чего-чего не было.

— Вон, тетюшка, пирожки слоеные сладкие, вон ветчина с горошком, вон мыло розовое, вон разноцветные свечки...

И только что успела Морщинка сказать о свечках, как защелкал замок в кладовую.

И где-то над самой головой с треском распахнулась ставня, а из дыры с потолка стало вываливаться маленькими колбасками что-то ужасное: змея не змея, рак не рак, Бог знает что.

Вывалилось чудовище, скалило зубы.

— Опять эти противные мыши! Ищи их, Фингал, раздави, растопчи!

— Хорошо, раздавлю, растопчу! — отвечал пес Фингал.

Алишка в миску. Морщинка под миску, сели мышки ни живы ни мертвы, сидят.

Вываливалось чудовище — колбаска за колбаской, кусок за куском.

— Ну, пойдем, Фингал, мыши ушли.

С треском захлопнулась ставня.

Защелкнул замок.

Час, и другой, и десятый высидели смирно ошарашенные мышки, не пискнули.

Первая вылезла Морщинка из-под миски.

— Тетушка, тетюшка, пойдем скорее. Хоть бы нам сахарную голову сулили, больше никогда не пойдем в этот замок.

А старая завязла в варенье, трясется: хвостик у бедняжки отвалился от страха.

Кое-как выбрались мышки и давай Бог ноги.

Бежали, бежали, а как скатились с горки-кургана, в лужу и сели.

Едет Клешня на раке, раком погоняет. И защемила Клешня головки мышкам.

— Подавайте, — говорит, — мне полцарства, сию минуту, мышиное!

А на мышках лица нет, на все соглашаются.

Видит Клешня, и без нее им попало, пощипала Клешня, попиявила мышек и выпустила.

Покупаться бы теперь мышкам, да не до того уж.

Сели мышки в лодочку, поехали. Переплыли речку благополучно, в лес вступили.

Хотели они с Козой поговорить, а Коза козляток кормила, только глазами поздоровалась.

А уж Носатая птица кричит с болота:

— Давайте мне ваши головы на отсечение или сами полезайте немедленно в клюв!

Струхнули мышки пуще прежнего, съежились комариком, закрыли глазки да драли куда попало.

Бежали они, бежали, бежали-бежали, прибежали в норку общипанные, обглоданные, облупленные. Сели.

И уж там и сидят, в своем мышинном подполье, благодарят Бога.

Пальцы[187]

Жили-были пять пальцев — те самые, которые всякий на руке у себя знает: большой, указательный, средний, безымянный — все четверо большие, а пятый мизинец — маленький.

Проголодались как-то пальцы, и засосало.

Большой говорит:

— Давайте-ка, братцы, съедим что-нибудь, больно уж морит.

А другой говорит:

— Да что же мы есть будем?

— А взломаем у матери ящик, наедемся сладких пирожных, — кажет безымянный.

— Наестся-то мы наедемся, — заперечил четвертый, — да этот маленький все матери скажет.

— Если скажу, — поклялся мизинец, — так пусть же я не вырасту больше.

Вот взломали пальцы ящик, наелись досыта сладких пирожных, их и разморило.

Пришла домой мать, видит: слипшись, спят пальцы, один не спит мизинец.

Он ей все и сказал.

А за то остался навеки сам маленький — мизинец, а те четверо с тех пор ничего не едят да с голодухи голодные за все хватаются.

Зайчик Иваныч[188]

1

Жил человек, и у того человека было три дочери, — как одна, красавицы и шустрые, не знали они над собою страха.

Старшую звали Дарьей, среднюю Агафьей, а меньшую Марьей.

Изба их стояла у леса. А лес был такой огромный, такой частый, — ни пройти, ни проехать.

Без умолку день-деньской шумел лес, а придет ночь, загорятся звезды, и в звездах, как царь, гудит лес грозно, волнуется.

Много страхов водилось в лесу, а сестрам любо: забегут куда — аукают, передразнивают птичек, и в дом не загонишь до поздней ночи.

Такие веселые, такие проворные, такие бесстрашные — Дарья, Агафья и Марья.

Как-то старшая Дарья мела избу, свалился с полки клубок, покатился клубок по полу, да и за дверь. Схватилась Дарья, взялась клубок догонять. А клубок катится, закатился в лес, пошел по кочкам скакать, по хворосту, привел в самую чащу и стал у берлоги.

А из берлоги Медведь тут как тут.

Как увидел Медведь Дарью, зубы оскалил, высунул красный язык, вытянул лапы с когтями и говорит:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Согласилась Дарья. Осталась у Медведя.

Вот живет она себе, поживает, ходит с Медведем по лесу, показывает ей Медведь разные диковины.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Раскрыл Медведь первую клетку, а в ней серебро рекой льется. Раскрыл Медведь вторую клетку, а в ней живая вода ключом бьет.

Говорит Медведь Дарье:

— Третью клетку я не покажу тебе, и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Целый день нет Медведя, уйдет куда на добычу, а Дарью одну оставит.

Ходит Дарья у запретной клетки, заглянуть смерть хочется.

А сторожил клетку Зайчик Иваныч.

Пробовала Дарья с Зайчиком Иванычем заговаривать, да отмалчивался бесхвостый, — хвостик Зайцу Медведь для приметы отъел, — отмалчивался Зайчик, поводил малиновым усом, уплетал малину.

И не раз в горячах пхала Дарья Зайчика по чем ни попало, таскала за серебряные заячьи ушки. А отляжет сердце, примется целовать Зайца, а то и в пляс пустится. Зайчику — потеха, мяучит. И сам когда-то горазд был, да лапки уходились — не выходит.

Раз Зайчик Иваныч и прикурни на солнышке, заметила Дарья да в клетку. Отворила Дарья дверцу и чуть не убилась — в глазах помутнело: в огромной клетке кипело настоящее золото. И захотелось Дарье потрогать золото, сунула она палец, и стал палец золотым.

Пришел Медведь, принес малины. Сели за стол. Пьют чай.

Медведь говорит Дарье:

— Что это, Дарья, у тебя палец-то золотой?

— Да так себе, — отвечает Дарья, — золотой сделался.

Тут Медведь из-за стола встал и съел Дарью, а косточки в угол бросил.

2

Тосковали сестры. Рыскали по лесу, по-птичьи кликали, звали сестрицу. Хоть бы голос подала, — не слышит.

И год прошел, и другой прошел. Ни духу ни слуху.

Как-то середняя Агафья подметала избу, сронила клубок. Покатился клубок. Пошла за

клубком Агафья. Шла-шла и забралась в самую гущу. Остановился клубок. Глядь — Медведь.

Стал на дыбы Медведь, щелкнул зубами и говорит Агафье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Агафья и так и сяк, да ничего не поделаешь, осталась жить у Медведя.

Водил ее Медведь по лесу, деревья выворачивал, медом пичкал и всякие медвежьи шутки выкидывал.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Растворил Медведь клетки. Глазела Агафья на серебро и живую воду.

— А третью клетку я не отворю тебе, — говорит Медведь, — и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Загрустила Агафья, ума не приложит, как бы так клетку посмотреть, чтобы Медведь не узнал. А тут этот Зайчик трется, глаз не сводит. Подходила Агафья к Зайчику Иванычу, щекотала ему малиновый ус, а Зайчик и в ус не дует: мячит себе по-заячиному, ни слова путного.

Выбежал однажды Зайчик Иваныч на закат полюбоваться, а Агафья стук в клетку. Взглянула — остолбенела да в столбняке-то и ткни палец в золото, и стал палец золотым.

Охала и ахала Агафья: как быть, увидит Медведь — съест живьем. Побежала к Зайчику. Сидел Зайчик Иваныч, напевал себе под нос, штаны чинил. Выхватила Агафья у Зайчика заплатку, перевязала себе золотой палец.

Вот пришел Медведь, приволок лесных лакомств полон короб. Сели за стол.

— Что это у тебя, Агафья, с пальцем? — спрашивает Медведь.

— Ничего, — говорит Агафья, — набредила, вот и обвязала тряпочкой.

— Давай вылечу.

Поднялся Медведь, развязал тряпку. А под тряпкою золотой палец.

И съел Медведь Агафью, а косточки в угол бросил.

3

Убивалась Марья.

— Сестры, сестрицы мои родимые! — куковала Марья по-кукушечьи.

Только лес шумит, царь-лес!

Так год прошел и другой прошел. Нет сестер.

Как-то подметала Марья пол, скатился клубок и в лес. Шла Марья за клубком, шла, как сестры, вплоть до самой берлоги.

Выскочил из берлоги Медведь, зарычал, оцетинился. Говорит Медведь Марье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Не сразу далась Марья, заупрямилась. Диву дался Медведь и полюбил ее пуще всех сестер.

Ходит косматый по лесу, собирает цветы, венки плетет. А выйдет с Марьей гулять, про всякую травку ей рассказывает, всякие берложные хитрости кажет. А то ляжет на спину, перекатывается, песни медвежьи поет. Зайчику в знак своего удовольствия мордочку медом вымазал.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Все показал Марье Медведь — и серебро и живую воду, а в третью клетку не повел.

— И ходить в эту клетку я тебе не велю, а не то я тебя съем.

— Съем! Съел один такой! — фыркнула Марья, а сама думает, как бы этак Медведя провести?

А Зайчик Иваныч ей глазом мигает. Зайчик Иваныч в Марье души не чаял.

Бывало, уйдет Медведь, а Марья к Зайчику:

— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, как мне быть, погибли сестры, погибну и я: заест меня Медведь.

А Зайчик Иваныч подопрется лапкою, лопочет что-то по-своему.

Так и проводили сны: сядут где на крылечке и сидят рядком, горе горюют.

Раз Зайчик Иваныч лучину щипал: самовар пить собирались.

Известно, примется Зайчик что-нибудь делать, так уж на целый год наделает, такая повадка у Зайчика.

Зайчик весь двор лучинкой закидал.

Марья пособляла Зайчику. И такая тоска на нее нашла, свету она невзвидела, пошла бродить по терему. Постояла, поплакала над костями сестер да с отчаяния туркнулась в запретную клетку. И ослепило ее золото, закружило голову. Да не сплеховала Марья: опустила лучинку в золото. А лучинка, как жар, горит.

— Сестры, сестрицы мои, мои родимые! — всплакнула Марья.

Запрятала Марья золотую лучинку в красный сафьяновый башмачок, отдала башмачок Зайчику. Пошел Зайчик в погреб за молоком да дорогой и сунул башмачок в свою старую норку.

Пришел Медведь. Сели брагу пить, все честь честью по-хорошему. И пошла жизнь по-прежнему.

4

Пораскидывал умом Зайчик Иваныч, горе горя с Марьей на крылечке.

Раз и говорит Зайчик:

— Не умею я по-человечьему сказывать, а то бы сказал.

Тем разговор и кончился.

Бродит Марья по терему, плачет над костями сестер, заглядывает то в одну, то в другую клеть.

И пришло ей на ум счастье попробовать. Набрала она полон рот живой воды, вспрыснула сестрины кости. И встала перед ней Агафья — жива-живехонька.

Что делать, куда деваться? Марья к Зайчику, так и так, говорит.

— Хорошо, — говорит Зайчик, — сию минуту.

Взял Зайчик Агафью за руку да в дупло и запрятал, а сам ей принес туда груш да яблоков и всякого печенья. И дело с концом.

Пришел Медведь. Стал к Марье ластиться. А Марья и говорит:

— Рычун, мой рычун, сделай ты мне, что я тебя попрошу.

— А ты наперед скажи, что тебе сделать, а то ты, может, третью клеть посмотреть хочешь, так я тебя съем.

— Батя мой завтра именинник, хочу пирогов ему испечь, а ты снесешь.

— Это можно, пеки.

Обрадовалась Марья да опрометью на кухню ставить тесто. Поставила она тесто и, когда все было готово, принялась пироги печь. Испекла пироги, взяла мешок, посадила в мешок Агафью, покрыла Агафью пирогами.

Говорит Агафье:

— Сядет Медведь посидеть, станет мешок развязывать, а ты и скажи: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Чуть только солнышко взошло, взвалил Медведь мешок на плечи, да и в путь-дорогу.

Полднем вздумалось Медведю поотдохнуть маленько, свалил он мешок наземь, стал развязывать.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — как закричит из мешка Агафья.

Вскочил Медведь, повел ухом.

«Ишь, — подумал, — и голос же у моей Марьи, все видит, и сесть тебе не полагается!..»

И пустился Медведь дальше. А как добежал до избы, шваркнул мешок у калитки да во все лопатки домой обратно.

Долго ли, коротко ли, ни много ни мало, а год, другой прошел.

Вспрыснула Марья сестрины кости. И встала перед ней Дарья жива-живехонька. Опять Марья к Зайчику. Запер Зайчик Дарью в чулан.

А вечером Марья говорит Медведю:

— Мамушка моя именинница, испеку я ей пирогов в день ангела, снеси ты их, косолапушка.

А сама Дарье шепнула:

— Как рассядется Медведь, ты ему крикни: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Все так и случилось. Сел было Медведь посидеть, стал мешок развязывать, а как услышал голос, оторопел да скорее в путь. А как добежал до калитки, брякнул мешок и опять домой восвояси.

5

— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, что мне делать, не могу больше у Медведя жить, хочу к сестрам!

А Зайчик Иваныч и рад бы что посоветовать Марье, да сказать-то ничего Зайчик не может. А уж так привязался, так привязался он к Марье, на шаг от себя не отпустит. Прямо влип.

Что наработал за долгую зиму, все Зайчик отдал Марье, какие бисерные кошельки понанизал, все отдал Марье. Летось к Медвежьему дяде за тридевясть земель скакал, выпросил у старого хрустальную туфельку да жемчугов горстку, все Марье отдал.

Когда с весной зачирикали птицы и полезли из почек листочки, чтобы на свет посмотреть, сказала Зайчику Марья:

— Ну, Зайчик Иваныч, придумала! Уйду я от Медведя.

Зайчик насупился.

А Медведь вечером спрашивает Марью:

— Что ты, красавушка, что ты такая веселая?

— А как мне веселой не быть, батю с мамушкой во сне видела. Испеку я им пирогов, отправлю завтра гостинцу. Еще дрыхнуть ты будешь, я затворюсь в терему, подымусь на вышку, буду следить за тобой, а как тронешься в путь, буду песни петь. Слышишь, ты не зови меня, я одна останусь, буду следить за тобой, буду песни петь.

Послушал Медведь, лег спать спозаранку. А Марья испекла пирогов, позвала Зайчика, сказала Зайчику:

— Прощай, Зайчик Иваныч, прощай, миленький!

Насупился Зайчик, не пускает Марью, уцепился лапками за передник, на глазах слезы.

И вдвоем коротали они последнюю ночь. Рассказывал Марье Зайчик свою заячью жизнь, как была когда-то у Зайчика и норка и как Медведь его выгнал из родимой норки и пришиб Зайчиху, и как пришибленная помирала покойница Зайчиха Ивановна.

И плакал Зайчик Иваныч, и о каких-то листьях поминал сквозь слезы... Он ли их съел, они ли детей его слопали, понять мудрено было.

На рассвете юркнула Марья в мешок, обложилась в мешке пирогами. Отнес Зайчик Иваныч мешок к берлоге, запер терем, а сам сел на крылечке караул держать.

И когда Медведь с своей ношей скрылся из глаз, запрятался Зайчик в свою старую норку, вынул из кованого ларчика красный сафьяновый башмачок, поставил к себе на столик и

залился горькими слезами:

— Сестры, сестрицы мои родимые! На кого вы меня покинули одного среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои последние заячьи дни одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам другом верным, помогал и охранял вас — и все ушли, забыли меня. Сестры, сестрицы мои родимые!

А Медведь шел, шел, задумал присесть, развязал мешок.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — закричала из-под пирогов Марья.

— Слышу, слышу! — рявкнул Медведь и во всю прыть дальше помчался.

А как добежал до калитки, шлепнул мешок и одним духом обратно к своей берлоге.

6

То-то радость была.

Снова вместе все трое, три сестры, три красавицы, — Дарья, Агафья и Марья.

Пошли расспросы да рассказы.

До полночи сестры глаз не сомкнули.

А в полночь весь в звездах, как царь, загудел лес, грозный, заволновался. И поднялась в лесу небывалая буря. Трещала изба, ветром срывало ставни, дубасило в крышу, а вековые деревья, как былинку, пригибало к земле, выворачивало с корнем столетние дубы, бросало зеленых великанов к небу, за звезды.

Это — Медведь, Медведь крушил и ломал свою пустую берлогу, сворачивал бревна, разбрасывал в щепки высокий покинутый терем.

А чуть только свет задымился на небе, Медведь издох от тоски.

Зайка[189]

1

В некотором царстве, в некотором государстве, в высокой белой башенке на самом наверху жила-была Зайка.

В башенке горели огни, и было в ней светло, и тепло, и уютно.

Лишь только солнце подымалось до купола и в саду Петушок — золотой гребешок появлялся, приходил к Зайке старый кот Котофей Котофеич. Впрыгивал Котофей в кроватку и бережно бархатной лапкой будил спящую Зайку.

Просыпались у Зайки синие глазки, заплетала Зайка свою светлую коску. Котофей Котофеич пел песни.

Так день начинался.

Зайка скакала, беленькая плясала. С ней скакала Лягушка-квакушка с отбитою лапкой[190], плясали две Белки-мохнатки. А гадкий Зародыш[191] садился на корточки в угол, хлопал в ладошки да звонил в серебряный колокольчик.

То-то веселье, то-то потеха!

И обедать готово, а Зайку за стол не усадишь.

Завязывал Котофей Котофеич Зайке салфетку, и принималась Зайка кушать зайца жареного да козу паленую, а на загладку «пупки Кощея»[192], такие сладкие, такие вкусные, малиновые и янтарные, — весь ротик облипнет.

Тут Лягушка-квакушка себе мух ловила, а Белки-мохнатки орешки грызли.

Но вот заходило за домик Барабаньей Шкурки красное солнце, проходила мимо башенки старуха Буроба, проносила Буроба огромный мешок за плечами.

Не дай Бог повернет Буроба в башенку! Подымется Буроба наверх, по лестнице, возьмет Зайку в мешок, унесет с собою, да и съест.

Которые дети спать не ложатся, Буроба в мешок собирает.

Котофей Котофеич уж охаживал кроватку, усатой мордочкой грел пуховую Зайкину думку, сон нагонял.

Зайка зевать начинала, просилась в кроватку.

Выползал из ямки Червячок. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

В окне показывался Кучерище[193], подпирал Кучерище скулы кулаками, ел Зайкины игрушки.

А Зайка расплетала свою светлую коску, скидывала с себя платице и чулочки да в кроватку бай-бай ложилась.

И подымался из-за угла гадкий Зародыш, залезал Зародыш в фонарик, дул в огонек. И огонек становился огонечком с ноготок Зайкин.

Васютка, сынишка Кучерищев[194], затягивал в трубе тонко песенку, — сонную песенку.

Так вечер кончался, ночь начиналась.

Ночью нередко Зайка ловила рыбку.

И чихал же наутро старый кот Котофей Котофеич, не пел песен.

А бедная Зайка замирала от страха: по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, пробиралась Буроба наверх к Зайке.

Которые дети по ночам ловят рыбку, Буроба в мешок собирает.

2

По праздникам, когда Петушок — золотой гребешок пел голосистой, а Курочка-кудахточка несла золотое яичко и солнышко ярче и светлее светило в башенку, вылезал из отдушника кум Котофея Котофеича — Чучело-чумичело.

Чучело-чумичело до самого обеда ходил на голове перед Зайкой, — все животики надрывала себе Зайка от хохота, а после обеда Чучело усаживался на шесток вместе с Котофеем Котофеичем, и у них разговор начинался.

Прислушивалась Зайка, но понять ничего не могла.

Чучело-чумичело все рассказывал о крысах, да о мышах, да о мышатах маленьких. А Котофей Котофеич себе под нос мурлыкал.

Раз Котофей Котофеич говорит куму:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, беда мне с Зайкой, да и только! Сам видишь, обносилась вся, локотки продраны, чулочки все в дырках, а какие были кружевца на штанишках, давно от них и помину нет, все обшаркались.

— Эх, кум, кум, — отвечал укоризненно Чучело, — чего ж ты загодя не сказал: приходил вчера ко мне Волчий Хвост, предлагал Хвост кубышку с золотом, да на что мне золото, и я и без золота Чучело.

— Может, опять придет?.. — замурлыкал Кот. — Ни зайца у нас жареного, ни козы паленой, ничего нынче на обед не было, а одними «пупками Кощея» сыт не будешь, да и «пупков» всего ничего осталось.

Приздумался Чучело-чумичело, да и говорит Котофею:

— Так ты, кум, вот что, как пойдешь ужотко за мышами, загляни ко мне в отдушник, там я тебе пошепчу на ушко что-то.

Рано легла баиньки Зайка, а глазки все не спали — глядели, а ушки все не спали — слушали.

То Червячок из ямки покажется.

То Васютка в трубе запищит.

— Велите дать говядинки, говядинки! — пищал из трубы Васютка.

Так Зайку все и разгуливало.

Уж Котофей Котофеич все свои песни перепел, все сказки порассказал, а Зайка все ворочается, переключивается то на один бочок, то на другой.

— Спи, деточка, а то люди ночь разберут, — уговаривал Кот.

Только когда Петушок — золотой гребешок прокукарекал полночь, а в домике Барабаньей Шкурки труба закурилась, Зайка засопела носиком и завела далеко-далеко свои синие глазки: прямо на пруд... ловить рыбку.

А Котофей Котофеич прыг с кровати да тихонько к отдушнику.

Покликал Кот Чучела-чумичела. Высунул Чучело мурло из отдушника. И шептались они долгое время.

3

Наутро Котофей Котофеич не чихал, не пел песен, снаряжал Котофей свою Зайку в путь-дорожку.

Говорит Кот Зайке:

— Зайка беленькая, отправляйся, моя курнопяточка, в темный лес, иди все прямо-прямо, и будет тебе избушка Бабы-Яги. Заглянуть к Яге в окошко можно, а входить не входи в избушку. Яга тебя без шапки-невидимки заметит и съест захочет. Ты иди лучше мимо избушки наискосок по тропинке, пролезай через шиповник, не бойся, пальчиков не оцарапаешь. Так-то, Зайка, так-то, беленькая! Встретит тебя птица Гагана[195], поздоровайся с птицей: Гагана тебе птичьего молочка даст. Покушаешь молочка и снова в путь трогайся. К полночи придешь к подземелью, не туркайся в дверь, а залезай прямо на дерево и жди, что будет. Пройдет мимо дерева слепышка Листин[196], прошуршит листьями, не бойся: Листин не страшный. Листин только пугать любит. Пролетит мимо дерева Сорока-белобока, проскачет Коза рогатая, ты не бойся: больно Коза не забодает, — жди, что дальше будет. Выйдут из подземелья двенадцать черных разбойников, ты слушай, что станут говорить разбойники, заруби их слова себе на носике, а когда пропадут разбойники, спускайся в подземелье и скажи то, что они говорили.

Простилась Зайка с Котофеем Котофеичем, простилась с Лягушкой-квакушкой, простилась с Белками-мохнатками, простилась с гадким Зародышем и с Червяком из ямки.

Все дружно проводили Зайку до самой последней ступеньки, назад в башенку вернулись, и занялся всякий своим делом.

Лягушка-квакушка мух ловила; Белки-мохнатки орешки грызли; Зародыш в ладошки хлопал да звонил в серебряный колокольчик; Червячок выползал из ямки, рос, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал в ямку.

А Котофей Котофеич по башенке с топориком прохаживался, приводил все в порядок, подшивал и подглаживал, а то заберется в Зайкину кроватку и там лапкою гостей замывает.

Каждый вечер все в кружок садились, пили чай — дули на блюдечко, вспоминали свою беленькую Зайку.

Васютка, сынишка Кучерищев, в трубе скучал-насвистывал.

— Зайка-Зайка, вернись-перевернись! — насвистывал из трубы Васютка.

Кучерище в окне игрушки ел.

4

Как сказал старый кот Котофей Котофеич, так все и вышло.

Не успела Зайка оглянуться в лесу, попался ей Медведь с Мужиком[197]: Медведь с Мужиком стояли на палочке, ковали железо, пели песни. Поздоровалась Зайка с Медведюшкой и

дальше пошла. Шла Зайка, шла и видит, стоит избушка на курьих ножках, на собачьих пятках. Заглянула Зайка в окошко, а в избушке Баба-Яга спит, распустила длинные уши: одно ухо вместо подушки, а другим, будто одеялом, с головкою покрыта. Показала Зайка пальчиками нос Бабе-Яге да скорее наискосок по тропинке. Выпорхнула из шиповника птица Гагана, ударила оземь красным крылом. Поздоровалась Зайка с Гаганой, взяла у птицы кувшинчик с птичьим молочком, выпила молочко и дальше тронулась в путь.

Вот видит Зайка подземелье, подходит она к двери, а дверь из человеческих костей и скрипит и светится. Забоялась Зайка да на дерево. Вскрабкалась, ждет — наострила ушко.

Прошел слепышка Листин, прошуршал листьями, пролетела Сорока-белобока, проскакала Коза рогатая, упала с неба сестричка-звездочка, и растворилась дверь из человеческих костей, — задрожали у Зайки поджилки, — и двенадцать черных разбойников вышли из подземелья, и сказали разбойники в один голос:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

И тотчас дверь подземелья закрылась.

Постояли разбойники, позевали на месяц. Сказали разбойники в одно слово:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

И тотчас дверь подземелья раскрылась.

А как пропали разбойники, прыгнула Зайка с дерева да все слова разбойничьи и повторила.

И дверь снова раскрылась, и Зайка вошла в подземелье.

Видит Зайка огромный хрустальный зал, по углам банки, в банках золотые рыбки плавают. Хотела Зайка хоть одну рыбку поймать, да одумалась. Подошла к семивинтовому столу. На семивинтовом столе — черная шкатулка, на черной шкатулке — шитое разноцветными шелками полотенце, а по полотенцу беленькая Мышка-хвостатка бегаёт. Поздоровалась Зайка с Мышкой-хвостаткой, подала ей Мышка золотой ключик. Приняла Зайка от Мышки золотой ключик, отперла шкатулку. А как открыла крышку, глазенки так и забегали: вся шкатулка до самого верху была полна бисерными кошельками. Взяла Зайка один кошелек с голубенькими цветочками, — больно уж кошелек ей понравился, хотела Зайка его в сумочку положить, а из кошелька вдруг золото орешками и посыпалось. Схватилась Зайка подбирать золото, а двенадцать черных разбойников встали с своего места да всю шкатулку Зайке и отдали.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказала Зайка по-разбойничьи.

Дверь раскрылась.

И Зайка была такова.

5

Вся башенка поднялась на ноги, когда Петушок — золотой гребешок прокричал о беленькой Зайке:

— Беленькая Зайка домой бежит!

Все спустились по лестнице вниз и на пороге встретили Зайку.

Зацеловали беленькую, задушили курнопяточку: так были все рады-радехоньки.

А Зайка едва дух переводит, покраснелась, запыхалась вся, все штанишки спустились, по земле волокуются, а волосики взбились хохликом.

Подала Зайка шкатулку Котофею Котофеичу, говорит Коту:

— Вот тебе, Кот, находка, разбирайся!

А сама села присесть да, как убитая, тут же на месте и заснула.

И спала Зайка целых три дня и три ночи без просыпу.

Вышел из отдушника Чучело-чумичело, стал ходить на голове перед Зайкой. Видит Чучело, не обращает Зайка на него внимания, пошушукался с Котофеем Котофеичем и опять в отдушник забрался.

Котофей Котофеич загреб золото, стал считать. И день считал, и другой считал, все со счета сбивается, — ничего не выходит.

Побежал Кот к Барабаньей Шкурке за мерой.

— Дай, — говорит, — мерку мне на минутку.

— А зачем вам мера? — спрашивает Барабанья Шкурка.

— «Кощеевы пупки» считать.

— Хорошо, — ухмыльнулась Барабанья Шкурка, — дам я вам меру, только смотрите, не затеряйте.

А сама думает:

«Тут дело не чисто, кто это „пупки Кощеевы“ мерой считает — „пупки“ в коробках на фунты продаются!»

А чтобы вернее дознаться, что будет Кот мерить, намазал Шкурка дно у своей меры липким медом.

Взял Котофей Котофеич Шкуркину меру и домой в башенку.

А уж мерил Кот, мерил, мерил-мерил — конца-краю не видно. А как вымерил до последнего золотого, отнес меру Барабаньей Шкурке, накупил платяицев и игрушек, нарядил Зайку и сел себе тихомолком гостей замывать.

Тут пошел такой в башенке пляс, хоть образа выноси из дому.

Не плясали, а бесновались. Больше всех отличалась Лягушка-квакушка, до того дошла Квакушка, что под вечер еще одну лапку себе отбила и осталась всего о двух лапках задних.

Ну и Чучело-чумичело, нечего сказать, постарался — Чучело-чумичело лицом в грязь не ударил: ходивши на голове, мозоль натер себе Чучело на самом носу.

То-то веселье, то-то потеха!

А Барабанья Шкурка не моргала. Как принес ей Котофей Котофеич меру, Шкурка всю меру во

все глаза оглядела и на самом доньшке нашла золотой, — прилип золотой к меду.

И порешила Шкурка разведать, откуда такое богатство попало в руки Зайки.

Много годов живет на белом свете Барабанья Шкурка, сундуки Шкурки доверху золотом завалены, а такого золота она глазом отродясь не видала, ни слухом не слыхала: не простое золото, а серебряное!

И стала Барабанья Шкурка подсылать к беленькой Зайке двух своих жогов подручных: Артамошку — гнусного да Епифашку — скусного.

6

Нос крючком, голова сучком, брюшко ящичком, а все само жилиное и толкачиком, — такие эти были Артамошка с Епифашкой.

В первый раз пришли они чуть свет в башенку. В другой раз — в сумерки, в третий раз — поздно вечером, и повадились. И днюют и ночуют пакостники, отбоя нет.

Придут они в башенку, рассядутся на кухне и клянчают. Немытые, нечесанные, — страсть взглянуть.

Разжалобили жоги Зайку.

Пробовала Зайка посылать им грибков да щавелику, — не помогает, все свое тянут, все еще клянчают. Еще больше разжалобили Зайку.

И стала Зайка их в комнаты пускать.

А как влезли они в комнаты, — тут уж ничем их не выживешь.

Зайка скачет, беленькая пляшет, а они мороками[198] по башенке бродят, все трогают, все нюхают, а то в игры свои играть примутся: либо угощают друг дружку мордой об стол, либо в окно выбрасываются, — такие эти были Артамошка с Епифашкой.

Остерегал Зайку старый кот Котофей Котофеич:

— Ой, Зайка, ой, беленькая, не водись ты с этими полосатыми: шатия эта шатается, не будет прока, помяни ты мое котово верное слово... с Бурбою они знаются, тетенькою Бурбу величают, сам слышал, тоже и башмачок твой намедни сожрали, да то ли еще натворят, ой, Зайка, ой, беленькая!

А Зайка хохочет.

— Старый ты, старый ворчун, все б тебе ворчать, иди-ка ты лучше да мышек топчи.

— Не могу я больше мышек топтать, — грустно вздыхал Котофей Котофеич и снова принимался журить Зайку.

Раз села Зайка в ванночку мыться. Котофей Котофеич головку ей мылил, банные песни пел. И случись такой грех: попало едкое мыло Коту в глаз.

Пошел Котофей Котофеич в кухню глаз промывать, а Артамошка с Епифашкой стук к Зайке в ванночку.

— Расскажи да расскажи, Заинька, откуда бисерные такие кошельки у тебя разноцветные да

откуда золото такое не простое, а серебряное?

Зайка все язычком и выболтала.

Вернулся из кухни Котофей Котофеич, а уж Артамошки с Епифашкой и след простыл.

И с той поры сгнули они из глаз, полосатые, словно никогда их и земля не носила.

Призналась Зайка Котофею Котофеичу.

Встревожился Котофей Котофеич.

— Пропали мы, пропали все пропадом! — одно твердил старый Кот.

Проснется Зайка ночью попить, покличет Котофея Котофеича, а Кота нет у кровати: Котофей Котофеич целыми ночами напролет перешептывался с Чучелом-чумичелом, куму свое горе поверял.

Всякий праздник, как всегда, вылезал из отдушника Чучело-чумичело, ходил до обеда на голове перед Зайкой, а после обеда, сидя на шестке с Котофеем Котофеичем, оба об одном рассуждали и на разные лады умом раскидывали, как из беды Зайку выпутать: неспроста приходили полосатые, наделают они дел, не оберешься.

— Пропали мы, пропали все пропадом! — твердил старый Кот.

7

Артамошка с Епифашкой потирали себе руки от удовольствия: так ловко провели она Зайку и носик ей натянули курносенький.

Получили жоги в награду от Барабаньей Шкурки старую собачью конурку на съедение. Засели в конурку, лакомились да облизывались.

А Барабанья Шкурка намотала себе на ус разговор полосатых и не долго думая снарядилась в поход за шкатулкой: добывать себе черную шкатулку с не простым, а с серебряным золотом.

И случилось с Барабаньей Шкуркой то же, что и с беленькой Зайкой.

Пришла Шкурка в полночь к подземелью, влезла на дерево. Вышли из подземелья двенадцать черных разбойников, постояли разбойники, позевали на месяц, сказали заклинание и пропали.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — повторила Барабанья Шкурка разбойничьи слова.

Дверь раскрылась, и Шкурка вошла в подземелье.

Обошла Шкурка весь хрустальный зал, все переглядела и все перетрогала, забрала с семивинтового стола черную шкатулку да к двери.

А дверь не раскрывается.

И барабанила Шкурка, колотила в дверь из всей мочи.

А дверь не раскрывается.

Забыла Шкурка впопыхах разбойничье заклинание.

А разбойники встали с своего места, окружили Шкурку да всю ее и измяли.

И превратилась Барабанья Шкурка в кожу, а из кожи сапогов да башмаков понаделали, и пошла Шкурка по мостовым шмыгать да ноги натирать, — пропала Шкурка пропадом.

8

Именины Зайки совпали с известием, — мухи рассказывали, что Барабанья Шкурка в кожу превратилась.

Бегал Котофей Котофеич в домик к Шкурке, но ни единой души не нашел в домике: Артамошка с Епифашкой в лес улизнули и там свили гнездо себе, живут-поживают, творят пакости да народ смущают.

Три дня праздновали в башенке именины, и пир горой шел.

На третий день, когда Кучерище объелся игрушками, а Чучело-чумичело голову потерял, прокралась незаметно в башенку старуха Буроба да за суматохой все добро и поклатала себе в мешок.

И лишилась Зайка серебряного золота, и черной шкатулки, и бисерных кошельков.

Только наутро хватились, — туда-сюда, да, видно, уж чему быть, того не миновать.

Ну хоть бы тебе что, словно в воду кануло!

Мрачный ходил Котофей Котофеич, завязывал ножку у стола[199] и снова и снова принимался пропажу искать.

— Не завалилось ли куда! — мурлыкал Кот.

И с отчаяния Кот обмирал на минуту и опять ходил мрачный.

Ночью покликнул Котофей Котофеич Чучела-чумичела. Чучело долго не отзывался.

— Трудно тебе, кум, без головы-то? — соболезнавал Кот.

— Страсть трудно, не приведи Бог.

— А я тебе, кум, мышинной мази принес, ты себе помажь шею, оно и пройдет.

— Мажусь, не помогает.

— А у нас, кум, несчастье.

— Слышал.

— Подумай, кум, выручи.

— Ладно.

Отошел Кот от теплого отдушника, обошел вдоль и поперек всю башенку, потрогал засовы — крепко ли держатся, — и успокоился и замурлыкал.

В окне сидел Кучерище, давился, — больше не ел игрушек.

Покатывался со смеху гадкий Зародыш, катался в фонарике.

И шалил огонек: то вспыхнет, то не видать.

А по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, шарила в потемках Буроба, метила в башенку, подымалась на пальчики, подступала тихонько к двери, отмыкала волшебным ключом тяжелый засов, приотворяла дверь...

— Кис-кис! — плакала Зайка от страха.

Которые дети любят поплакать, Буроба в мешок собирает.

9

Много ломал голову Котофей Котофеич с Чучелом-чумичелом: жалко им было беленькую Зайку, не было у Зайки ни кошельков бисерных, ни зайца жареного, ни козы паленой, ни «пупков Кощея», и личико у Зайки стало такое грустненькое, глазки заплаканы.

И порешили Котофей с Чучелом: опять идти Зайке к подземелью и проделать все, что в первый раз делала, и тогда все пойдет как по маслу, — будет и черная шкатулка, будут бисерные кошельки, будет и золото не простое, а серебряное.

— Только смотри, Зайка, будь осмотрительна! — напутствовал Кот свою Зайку.

Не тут-то было.

Шагу не сделала Зайка, попала в беду.

Ну, заглянула Зайка в окошко к Яге, ну и хорошо, идти бы ей себе дальше, нет, не утерпела. Захотелось ей поближе посмотреть. Отворила Зайка дверку да шась в избушку. И это бы ничего, с полбеды, а то возьми да и ущипни Ягу за ушко. Яга проснулась, Яга осерчала, села Яга в ступу да за беленькой Зайкой мигом в погоню.

Боже ты мой, чего только не натерпелась бедняжка! И с дороги-то Зайка сбилась, и сумочку Зайка потеряла, и наголодалась и продрогла вся. Спасибо, Коза рогатая на пути попалась, а то хоть ложись да помирай, вот как! Шла Коза бодать, заметила под кустиком Зайку, накормила Зайку молочком, взяла к себе на закорки и на дорогу и вынесла.

Вот она какая Коза рогатая!

Шла Зайка, шла, пришла к подземелью, влезла на дерево. Вышли двенадцать черных разбойников сердитые-пресердитые, сказали заклинание и скрылись.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказала Зайка по-разбойничьи.

И когда растворилась дверь и Зайка попала в подземелье, захлопала Зайка в ладошки от радости: все как стояло на своем месте, так и осталось стоять, — и семивинтовый стол, и черная шкатулка, и банки с золотыми рыбками.

Узнала Зайку Мышка-хвостатка, бросилась к Зайке с золотым ключиком. Взяла Зайка у Мышки ключик, и захотелось ей наперед рыбку поймать, только одну, самую маленькую. А как поймала Зайка рыбку, — Буроба тут как тут.

— А, — говорит, — попалась!

Тут Зайка сложила ручки крестиком да бултых в банку прямо к рыбкам.

И рыбкой, не Зайкой, поплыла.

10

Двенадцать родилось молодых месяцев, и один за другим двенадцать ясных они рождались слева. С левой стороны показывались месяцы рогатые старому коту Котофею Котофеичу. И Кот вздыхал тяжко.

Недоброе предвещали месяцы: не было Зайки, не возвращалась Зайка беленькая к себе в башенку.

И бросили Белки каленые орешки грызть, помчались в лес разыскивать Зайку, но и Белок не было, не возвращались Мохнатки в башенку.

И сидела в Зайкиной кровати Лягушка-квакушка под Зайкиной думкой, квакала.

— Кис-кис! — кто-то кликал, как Зайка, в долгие ночи.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, выручи! — мяукал жалобно Котофей Котофеич, не отставал от Чучела.

Но Чучело, измазанный мышиной мазью, без головы ничего не мог выдумать.

— У меня, кум, что-то вроде мышиной головы пробивается, и я боюсь, ты меня поймашь и съешь.

— Да не съем, — клялся Кот, — провалиться мне на месте, не съем тебя, только выручи!

— Ладно.

Неладно было в башенке, пусто: ни стрекотни, ни говора, ни смеха.

Только Васютка, сынишка Кучерищев, свистел в трубе, пересвистывал визгливо.

И ночь приходила, приникала к окну темными лохмами, застила свет, а Котофей Котофеич все сидел у окна пригорюнившись, не спускал глаз, глядел на дорогу.

В окне сидел Кучерище.

Привязался Кот к Кучерищу, а Кучерище к Коту.

Оба в оба глядели.

— Надоумь меня, Демьяныч! — мяукал Кот.

Кучерище ощеривался:

— Дай сроку, Котофеич, все устроится.

И молча выползал Червячок из ямки. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

— Кис-кис! — кто-то кликал, как Зайка, из ночи и грустно и жалостно.

Огонечек в фонарике таял.

11

Ранним рано, еще Петушок — золотой гребешок не примаслил головки, вышел Котофей Котофеич из башенки выручать свою Зайку.

Всю дорогу по наущению Кучерища Демьяныча и Чучела-чумичела шел Кот степенно, заводил умные речи. Никого не обошел он, со всяким хлеб-соль кушал. Встретились Коту по дороге два Козла-барана[200], ударялись Козлы-бараны друг о друга стычными лбами. Кот и Козлов не забыл, помяукал бодатым. Переночевал он ночь у Бабы-Яги, с Ягой крысы хвостики ели. Посидел часок-другой у Артамошки с Епифашкой, осмотрел их гнездо, похитрил чуточку.

— Зайка теперь рыбкой плавает, доловились! — ехидничали полосатые.

— А я ее съем! — подзадорил Кот.

— Ан не съешь!

— Ан съем, и очень просто съем!

— Да как же ты ее съешь? Разбойники ее караулят!

— Ну и пускай себе караулят.

— Разве что Коза... — почесался Артамошка.

— Конечно, Коза! — подхватил уверенно Кот, будто зная в чем дело.

— А даст ли Коза холодненькую водицу? — усумнился Епифашка.

— За водицей дело не станет, Гагана обещала! — сказал Артамошка.

Слово за слово, всю подноготную Кот и выведал.

Насулили Коту Артамошка с Епифашкой золотые горы, пошли Кота проводить, да на другую дорогу и вывели: не к подземелью, а нарочно опять к Зайкиной башенке.

Вот они какие, полосатые.

Уж и плутал Кот, плутал, только на осьмую ночь пришел Кот к подземелью.

Все, как водится, вышли двенадцать черных разбойников, сказали разбойники заклинание и скрылись.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказал Кот по-разбойничьи и вошел в подземелье.

Вошел Кот в подземелье да хвост поджал.

Неласково встретили Кота двенадцать черных разбойников.

— Иди, Котофей, — сказали разбойники, — отправляйся, Котофеич, подобру-поздорову домой, пока цел, нет у нас тут для тебя никакой корысти.

— А Зайка? — замаяукал Кот.

— Зайка! — заартачилися[201] разбойники: — Не отдадим мы тебе Зайку никогда! Зайка у нас рыбкой плавает, и мы на ней все женимся: такая она беленькая, беляночка.

— Ну, вы меня хоть чаем угостите, а я вам сказку скажу, — будто сдался Кот.

Согласились разбойники, велели самовар подать, а сами расселись вокруг Кота, рты разинули.

Кот пил вприкуску, передыхал, сказывал.

Рассказывал Кот длинную-длинную сказку о каких-то китайских яблочках и о купце китайском, запутанную сказку без конца, без начала.

Разбойники слушали, слушали Кота и заснули. А как заснули разбойники, опрокинул Кот чашку на блюдечко, да и пошел по банкам ходить, искать Зайку.

— Кис-кис! — тихонько покликкала Зайка.

Котофей Котофеич и догадался, выловил Зайку лапкой, обернул в платочек да себе в карман и сунул.

А разбойники дрыхнут, ничего не видят, ничего не слышат.

Тут загреб Котофей Котофеич в охапку черную шкатулку, сказал заклинание да поминай как звали.

— Э-эх! — укорял дорогой Котофей свою Зайку-рыбку.

— Да я, Котофей Котофеич, только одну хотела рыбку поймать, самую маленькую.

— Ну и стала рыбкой, прости Господи! — чихал Кот, не унимался.

Зайка едва дух переводила, так прытко стремился Кот в башенку.

И только когда сестричка-звездочка с елки на Кота глянула, сел Кот посидеть немножечко.

Вынул Котофей Котофеич платочек из кармашка, развернул платочек, покликнул Козу рогатую.

Прибежала Коза рогатая, дала Зайке-рыбке холодненькой водицы. И превратилась Зайка-рыбка в настоящую беленькую Зайку.

— Опасность, друзья мои, миновала: разбойники ошалели от гнева, пустили погоню... да не в ту сторону.

— Ну, спасибо тебе, Коза рогатая, — благодарил Кот, — заходи когда к нам Зайку пободать.

— Хорошо, зайду когда-нибудь, — отвечала Коза, — да лучше вот что, я вас сейчас до дому провожу...

Так втроем и отправились: кот Котофей, Зайка да Коза рогатая.

Много было страху и опаски: и с дороги сбивались и погоня чуялась, и топали шаги Буробы.

Артамошка с Епифашкой попали впросак и в отместку Коту свои козни строили.

Радость необычайная, радость невыразимая! Достигли путники башенки!

Пошел в башенке дым коромыслом.

Снова пляс, снова смех, снова песни.

Прибежали Белки-мохнатки, притащили кулек каленых орехов, вылез из отдушника Чучело-чумичело, прискакала Лягушка-квакушка о двух задних лапках, выполз Червячок из ямки, явился и сам Волчий Хвост, улыбался Хвост поджаро, болтался.

А гадкий Зародыш сел на корточки в угол, ударил в ладошки, — и начались хороводы.

Водили хоровод за хороводом, из сил выбились.

А Коза всех перебрала, да и опять в лес за кленовым листочком, только Козу и видели. А Чучела-чумичела чуть было Котофей Котофеич не съел: такая у Чучела соблазнительная мышинная мордочка выросла!

— Э-эх, кум, — пенял Коту Чучело, — не говорил ли я тебе, что ты меня съесть захочешь?!

Кот извинялся.

Кучерище сидел в окне, ел игрушки, головой поматывал.

То-то веселье, то-то потеха!

Насилу Зайку спать в кроватку уложили, — так разрезвилась, из рук вон.

И три дня пировали в Зайкиной башне.

На четвертый день утром приступил старый кот Котофей Котофеич к Зайке, тронул Зайку лапкой, сказал Зайке:

— Отпусти меня, Зайка, отпусти, беленькая, из башенки по свету погулять, выхолил я тебя, Зайку, вынянчил, пора и на волю мне.

Утерла Зайка слезки себе пальчиком, погладила по шерстке Котофея Котофеича и говорит:

— Как же я без тебя жить буду, Котофей Котофеич, меня Буроба съест.

— Не съест, Зайка, не съест, беленькая, где ей, ну а придет старая, ты только покличь, я и вернусь в башенку.

Поцеловала Зайка Кота в мордочку, вытащила из новой сумочки любимый свой бисерный кошелечек с

павлином, подарила его на память Котофею Котофеичу.

— Голубушка беленькая, Зайка моя! — прослезился растроганный Кот.

Так и покинул Котофей Котофеич Зайкину башенку, пошел с палочкой по свету гулять.

И осталась Зайка одна в башенке, надела себе Зайка золото на пальчики, взяла у Зародыша афту [202] — такую краску, размазала афту на дощечку и стала свой собственный портрет писать.

Придет старый Кот, вернется Котофей в башенку, Зайка ему портрет и отдаст.

— Афта-афта! — гавкал в трубе собачонкой Васютка, сынишка Кучерищев, стерег башенку.

Петушок — золотой гребешок на заре по заре распевал петушинные голосистые песни.

И играло солнце над башенкой так весело, весеннее.

1905

Медвежья колыбельная песня[203]

Баю бай-бай, Медведевы детки, — баю бай-бай.

Косолапы да мохнаты, бай-бай

Батя мед ушел искати, — баю бай-бай,

Мама ягоды собирать, бай-бай.

Батя тащит соты-меды, — баю бай-бай,

Мама ягодок лукошко, бай-бай.

Кто оленюшке, кто медведюшке, — баю бай-бай.

В лесе колыбель повесил, бай-бай.

Вышли воины удалые, — баю бай-бай,

Небаюканы, нелюканы, бай-бай.

К МОРЮ-ОКЕАНУ[204]

Мышиными норами

Котофей Котофеич

Котофей Котофеич[205] все хмурился. Сентябрем смотрели подслеповатые его добрые глаза. Ходил Кот по башне угрюмый. Уж Алалей и Лейла[206] и так и сяк к Коту, — ничего не действует: все не так, все не по нем. По ночам, случалось, ни на минуту глаз не заведет, без сна просидит Кот до утра с тигром да с птицею. Верные звери:

тигр — железные ноги, веревочный хвост, да рябая, глазатая

птица — железный клюв, без головы, — котофеевы верные звери как-то таинственно перемигивались с своим взлохмаченным другом.

Наступали теплые дни. Таял снег. Байбак проснулся. Вышел из норки Байбак, начал свистать. На ранней заре Алалей и Лейла ходили к озеру с круглым хлебом встречать весну. Но и весна не развлекала любимца их, старого Кота.

«Да не случилась ли какая беда с беленькой Зайкой?» — подумалось им, когда, разбирая голубые подснежники, вспомнили они прошлый веселый год — свое путешествие

посолонь .

— Вы догадались, — сказал Котофей Котофеич, — с Зайкой случилась большая беда.

— Опять старуха Буроба! — напустились они на Кота: им захотелось узнать всю правду о беленькой Зайке, которую очень любили.

— Не Буроба. Похуже.

— Кто же? Горынь-змей?

— Пострашнее.

— Одноглазое — Лихо?[207]

— Да, оно самое, одноглазое, — пригорюнился Кот, — надо идти выручать Зайку.

— И мы с тобой, Котофей Котофеич!

— Нет, нет, — замахал Кот сердито, — вас еще недоставало! Вот уму-разуму понаберетесь, тогда и вам дело найдется, а пока что оставайтесь в башне, я сам один пойду. Коза — лубяные глаза[208] за вами посмотрит.

— Что ж Коза?.. Коза и одна посидит... Кленовых листочков у Козы много.

Котофей Котофеич ничего не ответил — мимо ушей пропустил. Кот все сам с собой мурлыкал: Зайкина беда была, должно быть, очень большая. Скоро в башне у печки появилась вербовая палочка и сапоги, — это означало, что уж близок тот день, когда Кот покинет башню.

На Алексея — человека Божьего с гор потекла вода и старая Щука, пробив по обычаю хвостом лед, вышла из озера и явилась в башню Кота проведать.

За последние же дни у Кота появилась такая похватка: сколько ты его ни проси, к гостям Кот никогда не выходил или уж выходил, когда гости за шапки брались. На этот раз произошло то же самое.

Алалей и Лейле пришлось занимать Щуку. Коза — лубяные глаза хлопотала по хозяйству — старалась Коза, как получше угостить редкую гостью. Разговор не клеился. К счастью, сама Щука, промолчавшая целую зиму, распустила свои голубые крылья и очень легко разговорилась: она рассказала об Осетре и Утрап-рыбе — которая воевода рыбам, и как эта Утрап-рыба не может Ерша с хвоста съесть, потом рассказала об озере, о море — в каких она морях плавала и сколько чудес перевидала на море... на Море-Океане.

Только рты разевали от удивления: ничего подобного ни о каком море они никогда не слыхали.

И когда Щука, накушавшись плотвичками и окунями, очутилась по своему щучьему веленью опять у себя на озере, Алалей и Лейла прямо к Котофею Котофеичу.

— Котофей Котофеич, голубчик, — сказали они в один голос, — отпусти нас к Морю-Океану: хочется нам поглядеть на свет Божий! Отпусти, пожалуйста, что тебе стоит!

— И думать нечего, — отрезал Кот, — к Морю-Океану! Да знаете ли вы, что к Морю-Океану еще никто путно не добирался, а если и добирался, то плохо приходилось. Что вздумали!

— Да ведь ты же

посолонь нас водил!

— А вам все мало?

— Отпусти, Котофей Котофеич, мы только взглянем на море и сейчас же вернемся.

— Вернемся, вернемся! — передразнил Кот, — вернувшихся смельчаков раз-два да и обсчелся, да и откуда вы взяли, будто есть где-то на свете Море-Океан?

— А нам Щука сказала.

— Щука? — Кот страшно заворочал глазами и тотчас же бросился тщательно осматривать Алалея и Лейлу: пересчитал у них пальцы на руках и ногах, пересчитал у них уши и глаза, — это такой народ, Щука! — курлыкал Кот, видя все на своем месте целым и невредимым, — живо, что ни попадет, отхрюпает, старая пожируха! А Моря-Океана никакого нет!

— Нет, есть, есть... за Кошечевым царством, — уцепились за Кота Алалей и Лейла и не отставали.

— Ну, хорошо, есть, — сдался Кот, — только что ж из того? Хотите, чтобы вас разрубили на мелкие части, хотите, чтобы у вас вынули сердце и печень, хотите, чтобы вырезали из вашей спины ремней, хотите, чтобы отрезали вам пальцы, хотите, чтобы выкололи вам глаза, хотите, чтобы привязали вас к лошадиному хвосту, хотите, чтобы размыкали вас по полю, хотите, чтобы вас отдали на съедение зверям, хотите, чтобы вас закопали в землю живьем или превратили в камень, вы этого хотите?

— Нет, не хотим.

— А Баба-Яга?.. Небось не откажется Баба-Яга покататься да повалиться на ваших

косточках! А попадетесь Залесной безрукой бабе, да уж та вас, не мигнув, сцапает!

— А который царь Горох воевал с грибами, мы его, Котофей Котофеич, увидим?

Тут Кот понял, что все его увещания были напрасны, и очень рассердился.

— А тебе стыдно, Алалей! — царапнул Кот Алалея по руке и скрылся.

Целых два дня Котофей Котофеич ни с кем не разговаривал. Алалей и Лейла бродили по башне сами не свои: Море-Океан не выходило у них из головы, а из всех котофеевых страхов смущала их лишь одна

Залесная безрукая баба, но скоро и эта хитрая баба перестала пугать.

Коза между тем приняла в них самое горячее участие и так старалась расположить Кота, чтобы Кот заговорил.

На третий день под конец обеда Кот заговорил. А они, понятно, воспользовались наступившей переменой, пристали к Коту и так приставали к нему до самого вечера, что Кот дал согласие.

— Хорошо, я согласен, вы пойдете к Морю-Океану, — сказал Кот, — только подождите немного, я подумаю.

Наступила ночь. А Кот все думал. И Козе долго пришлось возиться, чтобы уложить спать Алалея и Лейлу. Но, и лежа в постелях они не могли успокоиться. И вот уже ночью такое нетерпение поднялось, что решили они, немедля, идти к Котофею Котофеичу и умолять Кота отпустить их и непременно завтра.

У Котофея Котофеича горел огонек.

Не одеваясь, направились они к его двери и, тихонько раскрыв дверь, уже готовы были тут же на пороге стать на колени и выкрикнуть Коту последнюю свою просьбу, как вдруг зрелище, представшее их глазам, так их поразило, что они, не пикнув, пристыли к месту.

Покои Котофея Котофеича превратились в вершину высокой горы, на горе рос огромный дуб, под дубом сидел сам Котофей Котофеич, а с ним Черный Орел и Белая Сова.

Кот, Орел и Сова о чем-то совещались.

— Хорошо, — говорил Кот, — я так и сделаю, я Одноглазому Лиху выколю его единственный глаз, и уж тогда Лихо потеряет всю свою силу, и Зайка будет вне опасности.

Орел разинул свой красный клюв, одобряя Кота.

Кот обратился к Орлу:

— А что ты скажешь, заоблачный Орел, о затее идти к Морю-Океану?

Услышав о себе, Алалей и Лейла перестали дышать и так вытянулись, что готовы были всякую минуту сорваться куда-то в пропасть.

— Надо обладать медвежьей силой, волчьими зубами, соколиными крыльями, рыбьей быстротой, рысьими когтями, чтобы добраться до Моря-Океана, — отчеканил Орел.

— Откуда же взять такое? — развел Кот беспомощно лапками.

— Затая пустая! — сказал Орел.

— Очень уж пристают они... Горе мне с ними да и только.

Орел от нетерпения приподнял свои черные крылья.

— Я уж и сам не знаю, — продолжал Котофей Котофеич, — как им без меня одним идти? Легко сказать, к Морю-Океану!

— Пускай себе идут, — вступилась Сова, — доберутся.

— Не думаю, — покачал головой Орел и опять раскрыл свой красный клюв.

— Опасность большая, но, раз они просят, надо исполнить, ты отпусти, Котофей! — настаивала Сова.

В глазах у Алалея и Лейлы позеленело, а сердце так запрыгало от радости, что, уж не помня себя, они чудом каким-то снова очутились в кроватях.

Уж солнце высоко сияло из-за леса, когда Алалея и Лейлу разбудила Коза.

— Вставайте скорее, пора собираться в дорогу: завтра вы идете к Морю-Океану.

Услышав от Козы такую радостную весть, Алалей и Лейла чуть не задушили Козу, и так ее тискали без милосердия, и так катались с ней кубарем по полу, что Коза раза два и позаправду боднула их, только не больно.

В этот памятный день за обедом они ели змеиную кашу, чтобы знать и понимать язык зверей, птиц и цветов, и прихлебывали душистый навар из чудесных трав, — Козы изготовление: Коза в этих делах большой мастер.

Потом они пробовали примерять себе всякие звериные платья, повывнесенные Козой из кладовых, где немало всякого добра хранилось в кованых устюжских сундуках. Но звериные платья были пересыпаны от моли каким-то таким едким табаком, от которого тотчас закружилась голова, и всю рухлядь унесли обратно.

Последний вечер прошел в разговорах.

Коза долго толковала Алалею и Лейле, как идти им и что делать и чего не делать, а они, хоть и внимательно слушали Козу, да как-то все из головы у них само собою вылетало. Впрочем, когда Коза кончила свои наставления, они поклялись ей, что исполнят козиный завет и ничего не будут делать, чего не надо делать, а всегда будут делать то, что следует делать, — и в подкрепление своих слов съели по комочку земли. И Коза тоже съела немножко.

— Все дороги ведут к Морю-Океану, — сказал Котофей Котофеич, одоббив Козы науку, — но есть три главных пути: первый путь лежит волшебными странами, второй путь лежит широкими реками, третий путь лежит темными лесами, болотами, полями и речками.

— Мы пойдем волшебными странами!

— Ну вот, так я и знал, — Кот с досады заходил по башне и закурлыкал жалобно, — нет, невозможно, так вы пропадете. Первые два пути для вас закрыты: чтобы идти волшебными странами, надо уметь ходить широкими реками, а до широких рек надо пройти еще долгий путь, и без меня вам одним не справиться. Остается третий путь, по которому вы и отправляйтесь.

— А когда мы пойдем волшебными странами?

— А там увидим, когда! Да вот еще что: зайдите-ка к дедушке, к Белуну, дед вас давно поджидает. У него отдохнете, старика порадуете, а случится зазимовать, остановитесь у моего старого свата Копоула Копоуловича. Копоул — кот ученый, большой баутчик! большой баутчик! — и, пропев себе что-то приятное под нос, Котофей Котофеич ушел в свои покои: Кот тоже собирался в дорогу.

Когда заря вошла в окошко башни, Алалей и Лейла стали прощаться с Козой. Козе очень не хотелось так надолго с ними расставаться.

— Смотрите же, будьте поосторожнее, ты, Алалей, береги Лейлу, ты, Лейла, слушайся Алалея, да поскорее возвращайтесь! — кричала Коза вдогонку, когда спускались они по ступенчатой лестнице из башни на волю.

Правда, прошло немало времени, прежде чем Алалей и Лейла вышли на дорогу: Котофей Котофеич все возвращался в башню, забывая то одно, то другое, то будто

птице чего-то не сказал, то у

тигра чего-то не допросился.

На распутье дорог Котофей Котофеич еще раз повторил свое наставление, поцеловал их, и они разошлись: Кот пошел к Лиху-Одноглазому выручать Зайку, Алалей и Лейла — за тридевять земель к Морю-Океану.

Волк-самоглот[209]

Каково было чувство наших путников, когда нежданно-негаданно, еще не закончив и первый день своего неведомого пути к таинственному

Морю-Океану, очутились они в самом невозможном и печальном положении: Алалей и Лейла попали в брюхо к Волку-Самоглоту.

И случилось все это очень просто. Встретив на поляне спящего волка, Алалей и Лейла не могли удержаться и, забыв Козы науку, не могли не потрогать страшного волка. Они погладили Самоглота по его серой лоснящейся шерстке, правда, совсем тихонько погладили волка, да волк-то спросонья, — волк очень чувствительный! — не разобрав хорошенько, в чем дело, хап! — и проглотил их.

Было б им слушаться Козу, строго исполнять даже и такое, чего сама Коза, отправляя путников в дорогу, хлопотавшись, сказать забыла, и не поступать с первого же шага так опрометчиво... Шутка ли, ведь Волк-Самоглот не простой волк — дураку волк гусли-самогуды из-за тридевять земель достал! И попасть к такому волку в брюхо — не шутка.

Сидя у Самоглота в брюхе, Алалей винил Лейлу, Лейла винула Алалея.

— Это ты все, Лейла, — говорил Алалей, — Ты! Ну зачем понадобилось тебе гладить этого волчищу! Ну, посмотрели мы на него, ну, постояли немножко, подули тихонько на шерстку, и идти бы себе тихо и смирно, и зачем надо было еще руками трогать?

— Нет, Алалей, — возражала Лейла, — это не я, это ты. Ты мне и волка показал, ты меня и к волку подвел и тебя же первого... нет уж, ты припомни, Алалей, тебя первого и проглотил волк, а меня заодно.

— И вовсе не заодно! Я хватился тебя, хотел закричать, и как раз в эту самую минуту и схватил меня волк. Кого же первого проглотил волк: меня или тебя?

— Тебя, Алалей!

— Конечно, меня! Я всегда виноват. И что скажет Коза, когда дойдет до Козы! Что скажет сам Котофей Котофеич! Эх, Лейла, пропало наше путешествие, прощай теперь Море-Океан.

— Давай, Алалей, подыдем крик, будем топтать, шуметь, пищать, нас услышат и освободят.

— Кто нас услышит? И где тут потопаешь! Освободят? Кому это нужно? Вот ты бы не трогала волка, вот это нужно.

— Ты меня, Алалей, совсем не любишь!

— Да если бы я был один, — обиделся Алалей, — попади я один к волку в брюхо, ей-богу, ни о чем бы я и не думал. Ведь я о тебе беспокоюсь...

— Мне, Алалей, есть хочется.

Алалей ничего не мог ответить. Алалей только беспомощно развел руками: в самом деле, что достать Лейле, такой капризной и нежной и баловнице, тут, в брюхе Самоглота волка!

Все углы Самоглотова брюха были завалены всякой живностью, но все было в самом неподходящем и несъедобном виде: живьем свалены лежали козы, овцы, бараны, телята и тут же всякие рога, копыта, клювы, хвосты, холки, бороды, гривы и тут же вещи совсем случайные — рукавицы, валенки, немало стен холста и красный пузатый самовар.

В брюхе пошел дождик.

Шел дождик по-осеннему мелкий и теплый, как летом.

Самоглот бежал, так все и бежал волк по своему волчьему делу, бежал лесом и полем, и опять лесом, и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

Уж затихли шаги солнца, уж вышел месяц и соловей — весенняя залетная птица, высвистывая, запел свою песню, когда пришла ночь и на волка: набегавшись всласть, грохнулся волк на землю и захрапел по-волчьи.

Успевшие и промокнуть и обсушиться, Алалей и Лейла понемногу освоились и, оправившись после толчка, отброшенные на другой конец волчьего брюха, пошли бродить в брюхе, отыскивая хоть какой-нибудь светик на волю.

После долгих поисков в левом боку — Самоглот спит на правом — отыскали они вроде слухового окошка.

Первая выглянула на волю Лейла и тотчас от страха спряталась за Алалея. Выглянул Алалей и зажмурился.

Что случилось? Что было на воле? Что так испугало Лейлу, отчего зажмурился Алалей?

— Не бойся, Лейла, — сказал Алалей, — это они... к ним надо привыкнуть... это совсем не люди, только не бойся, Лейла.

И оба, крепко притиснувшись друг к другу, высунулись из волчьего окошка на волю.

Месяц низко спустил рога, и было видно, как днем.

Самоглот дрых на кургане — на какой-то

шведской могиле, а от могилы весь поемный берег до самой реки раззыбался — кишел всякой весенней нечистью.

И кого только не было там: домовые, домихи, гуменные, банные, лесунки, лесовые, лешие, листотрясы, кореневые, дупляные, моховые, полевые, водяные, хлевники, чужаки, наброжие и облом, костолом, кожедер, тяжкун, шатун, хитник, лядащик, голохвост, ярун, долгоносик, шпыня, куреха и шептун со своею шептухой.

Одни пыжились, словно куры при сноске, и топорщились и торожились, другие все вприпрыжку — и тряслись и качались, — чернокровные, черномазые, захлыщевые, забубенные, игрунки, скакунки, хороводники, третьи тихие, тихоногие — трава под ними не топчется, цветы не ломаются, и полозом ползли по-змеиному вислогубые, вислоухие, крючконосые, тонконогие, и подземные из подземных нор — из сырой и холодной страны.

Всех весна выгнала, всех весна выманила из зимних темных закут, закружила весна — и не спится, все манится.

Коротала нечисть весеннюю ночь, друг с дружкой разговор вела.

С чего началось, неизвестно. Да разговор у нечисти ни с чего и начинается прямо.

Лесовой хвалил лес.

— Хорошо в лесу, — шумел Лесовой, как еловые шишки шумят, — хорошо и легко и весело!

Ауку, чай, знаете? Аука в избушке живет; а изба у него с золотым мхом, а вода у него круглый год от весеннего льда, помело у него — медведевая лапа, бойко выходит дым из трубы, и в морозы тепло у Ауки. Старички и старушки —

Лесавки в прошлогодних листьях сидят, а как осень подходит, завидят Лесавки осенние звезды, схватятся за руки, скачут по лесу, свистят на весь лес, без головы, без хвоста, скачут, вот как свистят!

Листин -слепышка и Листина-баба только и знают, бродят в листьях по лесу, шуршат.

Лешак -хворостяник в хворосте спит.

Залесная -баба — безрукая баба, а так и норовит тебя сцапать, худа, как былинка. А за озером в черничном бору живет

Боли-бошка . А за ленивым болотом живет

Болотяник . А за дикою степью, за березовым лесом — ведьма

Рогана . Ночью ходит Рогана по лесу в венке из лесных цветов, кукует ведьма тихо и грустно. А о лютом звере

Корокодиле я ничего не знаю. Кто-нибудь слышал?

Помалкивала нечисть.

Потрескивал перелетный огонек, то вспыхивал ярко, то чуть светился голубенькой змейкой.

Один забубенный —

Коровья-нога , облизнувшись, сказал:

— Я Коровья-нога! Есть зверь

кот-и-лев [210] — есть он зверь страшный, усатый, а

крокодил , я ничего не слышал о крокодиле.

— А у нас совсем по-другому, — пропищал

Долгоносик , — нас у Адама было детей много. Раз на пасху приказал Бог Адаму вывести всех нас, детей, себе напоказ. Адам постеснялся: совестно тащить такую ораву. Поташил Адам только старших, а мы дома остались. Мы и есть эти самые скрытые домашние дети Адама.

— А мы падшие духи, — прошипел тихоногий, — падшие духи, были мы очень надоедливы, дела не делали, ходили по пятам Бога, ну Бог нас и турнул с неба.

— А мы неверные, мы бывшие ангелы, погнал нас архангел. Сорок дней мы летели, сорок ночей, и кто куда попал, тот там и остался, — ввернул от себя бывший ангел, ни на что не похожий: нос — зарубка коромысла, ноги — завиток бересты, а легок, как шишка хмеля.

— Зверь

кот-и-лев есть страшный, усатый... — облизывался забубенный Коровья-нога; дался Коровьей-ноге этот зверь Котылев.

А с весеннею полночью прямо на нечисть шла по весеннему лугу дочка-веснянка,

Зовутка .

Стала Зовутка. Звездой рассыпалась ее завивная коса. Моргнула Зовутка зарницей.

И словно громом ударило нечисть.

Из прошлогодней соломы закурлыкал лядащий бес

соломин , притрушенный теплой соломой. И откликнулся луг, загудел, и весь берег защелкал и заахал и зааукал, застрекотал лес стрекозой.

Пошел хоровод, заиграл, закружился, — ой, хоровод!

Либо копыто, либо рога, либо крыло, либо Бог знает что, а может быть, зверь кот-и-лев, может быть, сам зверь крокодил, что-то, кто-то отдал волку лапу.

Как вскочит Самоглот, потянул воздух, фыркнул да и был таков.

Алалей и Лейла едва-едва успели от окна отскочить.

Мчался волк, летел Самоглот сломя голову, бежал лесом и полем, и опять лесом и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

Укачивало в волковом брюхе.

Лейла дремала.

— Мне, Алалей, жалко Зовутку.

— Им, Лейла, весело.

— Съест ее зверь корокодил. И как это они нас не заметили?

— Им не до нас.

— А кому же до нас, Алалей?

— Утро придет. Дождемся утра, заснет Самоглот, и мы прямо в окошко на волю.

— Хоть бы утро скорее... Я тебя люблю, Алалей, я тебя очень, очень люблю, Алалей.

И когда пришло утро, вышли Алалей и Лейла из Волкова брюха на волю. И долго бродили они по лесу, по полю и по болоту, много встретилось им всяких напастей и, много узнав всяких диковин, вышли они на тропинку.

Доведет их тропинка до Моря-Океана.

— Лейла, я тебя очень, очень люблю!

Весенний гром[211]

Ангелы по мосту едут.

— Белые Божие, куда вы поехали?

Стучат, топают кони. Плавно катят белые сосновые повозки. На повозках воз полевых цветов, целый воз кудрявых молоденьких березок.

Плавно катят колеса, не скрипят: смазаны дегтем.

И прямо по пути на грозный перекрест, где расходятся дороги Солнца, Земли и Месяца, твердо ступая на глухих железных ногах, их ведет поводырь — орлокрылая птица

Главина [212]: женские длинные волосы спущены ей на глаза, а из глаз, ровно льются, летят стрелы.

Оттого так и гремит кругом.

Ангелы по мосту едут.

— Белые Божие, куда вы поехали?

— А поехали мы, ангелы, со цветами-колокольчиками и с кудрявыми березками на седьмое небо к Богу справлять Троицу.

Ремез — первая пташка[213]

Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Лучше бы им переждать у седого Ауки в избушке. Тепло у седого Ауки. Аука затейный: знает много мудреных доук, балагурья, обезьянку состроит, колесом перевернется и охоч попугать, инда страшно. Да на то он Аука, чтобы пугать.

Ливмя лил дождик, и лишь к вечеру по закату поднявшимся ветром разволокло сердитые тучи, и светло за угор село солнце.

Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Сосны и ели шумят, как в погоду. А звезды — а звезды — большие!

Выручил куст. Пустил ночевать.

Хорошо еще летом: всякий куст тебя пустит, а зимой — пропадешь, когда инеем-стужей всю землю покроет.

— Тише, Лейла! Тут, кроме нас, как и мы, без дороги одноухий маленький заяц с усом! Как продрог! И всего уж боится бедняга.

Заяц их не узнал. Заяц их принял за что-то да за такое, не на шутку струхнул и сейчас улепетывать, — куда там!

Ну, потом все разъяснилось.

И осталось под кустиком трое: Алалей, Лейла да Заяц с усом ночь коротать.

Рассказал им серый о лисице — которая лиса песни поет, и о лютом звере[214] — который зверь сердитый, и о птичьей ноге — которая нога сама везде ходит. Отогрелся и задремал.

Они и сами не прочь. В сон голову клонит, да язычок у кого-то... все бы ему разговаривать, и ушки такие... все бы им слушать, и глаза такие... все бы им видеть. Вот и не спят.

— Зайчик заснул?

— А то как же, — второй сон, поди, видит!

— Звезды большие!

— Большие.

— А самые большие!

— В пустыне, там, где верблюды.

— А если на дерево влезть, можно ухватиться за звезды?

— А вот как заснем да влезем на елку, ты и ухватишься.

— А ты мне про птицу-то рассказать обещался?

— Про какую про птицу?

— Да про ту... ты же мне говорил... первая птица такая...

— А! про Ремеза — первую пташку!

— Ну и что ж она, Алалей, маленькая?

— Так себе: не великая, маленькая, сама коричневатая, горлышко — белое. Нос у ней, — другого такого не найти у птиц, и лапки особенные. Суетливая, все ремезит. А гнездо она вьет — лучше всех гнезд — гнездо у ней кошелем... за то и слывет первой у Бога. Вот и все.

— Нет, ты хотел рассказать много!..

— Ну, любит Ремез, где реки, где озера, иву любит, за море летает. Кто хранит гнездо Ремеза в доме, в тот дом гром не бьет. А погибает Ремез в бурю — береговая пташка. И большая певунья: голос не великий, маленький, только что для детей...

— Вроде кукушки?

И глаза засыпают у Лейлы.

Жутко в лесу. Ночь все теснее, ночь все ближе. Весь лес обняла. А звезды — а звезды — большие.

Белун[215]

Заковали студеному Ветру колючие губы, не велели холодом дуть, и Мороз-Трескун, засыпанный снегом, сел отдыхать в холодном царстве на полночи.

Пришло теплое лето.

Забыто ненастье.

Все живет, все у земли копошится, кустом разрастается.

Медведь-пыхтун зашатался по лесу, а кузнечик — воля: стрекочи хоть всю ночь.

Пошли люди с косами с острыми. Пospел сенокос.

И куда ни заглянешь, все-то словно невиданно: к каждому цветку наклоняешься, тронул бы всякую травку...

Хороша погода, украслива.

Гей! — подле ржи проходит Белун.

Какой белый, сам в белой рубахе, и от солнца не застится: оно ему любо. Из леса идет: без него, говорят, темно в лесе. Заблудишься, только спроси, Белун и дорогу покажет.

— Дедушка, на сенокос?

Не слышит. Где тут услышишь!

Вот ступил на межу...

— Дедушка!

— Что тебе, родной? — дед улыбнулся: и ему хорошо...

Идет Белун по меже, идет летней дорогой, ударяет клюкою: вспоминает ли старый стародавнее

бусово время или далось на раздуму другое... наша русская доля?

Лязг косы звонче.

Стрекочет кузнечик.

Так до белого месяца лязг косы звонок.

Ходит по ниве Белун, наделяет добром.

Собачья доля[216]

За Могильною горою стоит белая избушка Белуна.

Белун — старик добрый. Алалей и Лейла остались у дедушки погостить.

С рассветом рано отправлялся Белун в поле. Высокий, весь белый, ходил он все утро по росистой меже, охранял каждый колос. В полдень шел Белун на пчельник, а когда спадала жара, опять возвращался на поле. Только вечером поздно приходил Белун в свою избушку.

Не отставали они от деда, так и ходили за ним и на поле, и на пчельник. А какой он добрый, какой ласковый белый Белун!

Белуна все любят. Медведь не трогал.

— Странного человека медведь никогда не тронет, он знает! — говорил старик, — встретишься с медведем, скажи ему: «Иди, иди, Миша! Я — странник, ничего тебе не сделаю». И медведь уйдет.

Рассказывал по вечерам Белун сказки, когда не спалось, или в погоду, когда было страшно, или очень приставать начинали.

А собака у Белуна — Белка. Станет старик к ужину хлеб резать, Белке горбушку даст — первый кусок. И всегда он так делал: Белке первый кусок.

— Мы едим Белкину долю, — сказал как-то дедушка, — у человека доля собачья.

— Как так — собачья?

И уж они не могли успокоиться, пока Белун не рассказал им всего.

Раньше все не так было, не такое. И земля была не такая. Ржаной колос с земли начинался от самого корня и был метлистый, как у овса. Ни косить, ни жать нельзя было, подрезали колосья каменным шилом, чтобы не растерять зерна. И хлеба было всем вволю.

И случилось однажды, вышел Христос странником на поле, вышел Христос посмотреть, как живут на земле его люди. А как людям жить? Известно, и хлеба по горло — сыты, так другим чем возьмутся друг друга корить — осатанели!

Идет странник по полю, радуется: зерна так много, колос полный от земли до верхушки. И весь день ходил странник до вечера, а вечером на ночлег собрался.

Туда постучит, сюда попросится, — никто его не пускает. Гонят странника.

«Еще стащит чего!» — вот у каждого что на уме: страшно за добро, хоть и девать-то его некуда, добра-то всякого.

Вошел странник к богатым в богатый дом. Не просился он на ночлег, просит хлеба кусок — милостыню. А пекла хозяйка блины, увидала странника, разругалась на чем свет стоит, турнула за дверь. Да в горячах схватила блин, вытерла блином грязную лавку — кошкин след дурной, кинула блин вдогонку.

Поднял странник блин, положил в котомку и пошел в поле.

«Нет уж, ничем, видно, сытого не примешь! Ему горя нет! Осатанел человек в вольготе!»

Разгневался странник и, встав среди поля, позвал страшную тучу.

И поднялась на его зов страшная туча. Загремела гроза.

Палило огнем, било градом, смывало дождем.

Уж не кричат, не вопят — остоленели: ведь все хозяйство пропало, весь хлеб погиб, все колосья оципаны. И один лишь остался маленький колос на длинной соломе.

Черно, пусто, голо на вольготной богатой земле.

— Тут-то вот Белка и вышла из конурки, — рассказывал добрый белый Белун, — видит собака, дело плохо, с голода подохнешь, и выбежала в поле да как завоет. «Ты чего, Белка, воешь?» «Есть хочу!» И тронули Бога собачьи слезы, снял Бог грозную тучу. Засветило солнце, пригрело. И остался на земле маленький колос — собачий, что Белке за слезы ее пришлось от Бога, маленький колос собачий, на длинной соломе. С той поры и едят люди долю собачью. Наша доля собачья!

Божья пчелка[217]

На зеленый двор залетели пчелы — это к счастью. И остались жить.

В цвету липа. Липовым цветом золотится весь душистый сад.

Частый сильный рой от неба до сырой земли.

То-то хорошо, ну весело!

Вот теплый день уплыл, восходит звезда Вечерница[218], а они серые, ярые, жужжат — собирают мед.

Много будет меда белого.

И по гречишным полям и в поемных зеленых лугах, вдоль желтой дремы, в пестрой кашке и в алой зоре с цветка на цветок вьются пчелы. Частый, сильный рой от неба до сырой земли.

То-то хорошо, ну весело!

Вот на смену дню распахнется долгая вечерняя заря, а они серые, ярые, жужжат — трудятся.

Много будет меда красного.

Густые меда, желтый воск.

Хватит всем сотов на Спасов день: Богу — свечка, ломоть — деду, и в улей довольно на зиму.

— А скажи нам, пчелка, откуда вы такие зародились?

Выбирала одна пчелка из богородичной травы сладкого меду.

— А не велено нам сказывать, — ответила пчелка. — Водяной дед не любит, кто не умеет хранить тайну, а Водяной над нами главный.

— Мы только дедушке скажем.

— А дедушка Белун сам пчелу водит, мудрый, он и без вас знает.

— Ну, мы большим никому не скажем.

— Ну что ж, — прожужжала пчелка, — вам-то я и так бы рассказала, только некогда мне долго рассказывать...

И мохнатая серая пчелка запела:

— А поссорился Водяной с Домовым, все б им старым ссориться, заездил седой

фроловского коня. И валялся конь с год в сыром затрясье. В кочкорье-болото небось никто не заходит! Вот от этого фроловского коняги мы к весне и отродились. Раз закинули рыбаки невод и вытащили нас из болота, пчелиную силу, и разлетелись мы, пчелы, на все цветы по всему белому свету. Смотрит за нами соловецкий угодник Зосима и другой угодник Савватий, нас и охраняют. Мать наша Свирея и Свиона, бабушка Анна Судомировна.

И полетела Божья пчелка, понесла с поля меду много на сон грядущий.

Горело небо багряным вечером.

Там по раздолью небесному будто рой золотых пчел посылал на землю медвяную росу, обещая зарю, солнце да ведро.

Проливной дождь[219]

Баба Яга собирается хлебы печь.

Задумала старая жениться — взять в мужа рогатого черта —

Верхового . Он, известно, галчонок: всем верховодит.

Взгомозилась на радостях банная нежить: банная нежить в сырости заводится из человеческих обмылков, а потому страсть любопытна. Вот заберется она за Гиенские горы пировать в избушку, насмеется, наестся, все перемутит, всех перепугает, — такая уж нежить.

А! как ей весело: старик Домовой на бобах остался — показала Яга ему нос. Тоже жениться на Яге задумал!

Да и дед Домовой в долгу не остался: подшутил над Ягой.

— Бить тебя надо, беспутный, да и обивки-то все в тебя вколотить! — плачет Яга, ходит у печи.

— Бабушка, чего же ты плачешь?

— А как мне Бабе-Яге не плакать, не могу посадить хлебы: Домовой украл лопату.

И плачет. Не унять Яге слезы: скиснутся хлебы — прибьет Верховой.

— Бабушка, не плачь так горько, мы тебе отыщем лопату.

А слезы так и льются, — полна капель натекает.

— Эй, помогите! Найдем мы лопату да бросим на крышу: Яга улыбнется — и дождь перестанет.

Колокольный мертвец[220]

Проводил Белун гостей до Сухого Каратыга. Шли путники по Самохватке вдоль улицы в конец.

Был поздний вечер.

Золотое солнцево яблоко, покотившись по лесу, закатилось в овраг. И красный вечерний край неба погас.

Все пестрехи, чернохи, бурехи уж вернулись с поля домой, а Бурку-коня и Лысьяна повели в ночное на травы. И Жучок, и Бельчик, и Рябчик, — все поросятки заснули в хлеву, и сама свинья, мать сивобрысая, Хавронья, глядя на ночь, по-свиному задумалась. И закрыли и заперли все закуты, загоны, и муха-шумиха и комар-пискун угомонились. А Чубар и Лысько, и Сокол и Зорька, и Пустолайка и Найда, ночь почуя, по-ночному завозились в конурке.

Хоронясь по чужим огородам и задним воротам, проползла на четвереньках, словно топтыга медведь, Мамаишна бабушка. Надулись кровью старушечьи губы, и заострился жалом ее оговорчивый пересмешливый язык: будет подоконнице что подслушивать, будет что и рассказывать, — голос у ней гладенький, слова масляные.

А в мешке у Мамаишны одномёдные пряники!

И пролетела над Самохваткою Лунь-птица хищная, — засветил вдоль улицы месяц.

У моста под вербой остановились путники — под вербою ночь ночевать.

— Звезды сестрицы!

— Серебряные.

— Я буду звезды считать, Алалей!

— Ты видишь, тянутся гуси?

— Небесные гуси, как много!

— А твоя звезда, Лейла?

— А вон — та вон звездочка самая серебряная...

Проскакал по мосту Заяц-голова лисичья.

— Что задумано, то исполнится! — проговорил по-зайчиному Заяц-голова лисичья, и закидался Заяц по ельнику, заметался по березнику, по горькому осиннику.

На луну нашло облако, ветер пахнул холодком.

Глухо и грустно зашумело в лесу.

И семь лебедок-сестер Водяниц замесили болото-зыбун.

Заблудущая Коза Козовна стукнула копытом о бревно.

— Вам бы пучок лык да дров костер: будет свежо.

— Мы звезды считаем, Коза.

— Ну, считайте. Будет свежо.

Вылез из-под дырявого моста сухоногий вылыглаз Окаяшка-птичий нос. Щелкал, косматый, бобы, подвигался на луг. На лугу, на лужайке сходились в хороводы. Ведьмины детки — куцые курочки в острых хохолках. И, сцепившись ногами-руками, покатались клубком, как гаденыши, за Окаяшкой косматым одноглазые Песьи-головы.

Прошла трепущая рыба Сбухта-Барахта: хвост у ней, как у лебедя, голова козлиная, — лукаво поглядывала рыба, как волк на козу, шла трепущая по-тиху, по-долгу на зеленый луг. На лугу, на лужайке Ведьмины детки — куцые курочки в острых хохолках, кружась в хороводе, запевали по-печальному жалкие песни, подвывали несчастные на свою хохлатую голову. А на липе блестел стоведерный пузан-самовар: будет чертям полунощный чай и угощение.

— Ох, ну тебя! — отбивался воробьеныш-воробей от земляного зуды-жука: полорот из гнезда выпал, прозяб.

— А правда, Алалей, по звездам всё можно знать?

— Как кому.

— А что такое

всё, Алалей?

Шибко рысью промчался по широкому лугу конь Вихрогонь, стучал сив-чубарый копытом, и далеко звенели подковы, звякала сбруя, сияло седло.

Сильнее подул полунощник.

Глухо и грустно шумело в лесу. Тяжко вздыхал Лесной Ох.

Семь лебедок-сестер Водяниц месили болото-зыбун.

И молчком разносили коркуны-вороны белые кости, косточки, кости с дороги в лес-редколесье, не грая, не каркая.

— Одномёдные пряники! — Лейла бросила звезды считать, — у Мамаишны сколько их,

пряников?

— Да с сотню, поди.

— Нам бы, Алалей, этих пряников одномёдных сотню?

— Хоть бы один, и то хорошо.

— А почему, Алалей, у Мамаишны сотня пряников одномёдных, а у нас и одного нет, никакого?

— Так уж Бог дал.

— А почему так уж Бог дал?

— А ему виднее: кому дать, а кому и ничего не дать. Будут зубки портится с пряников, что хорошего?

— А я бы всем дала пряников много одномёдных, всем... А бобы Окаяшкины сладкие?

Из каменных оврагов вышли Еретицы. Еретицы — они заживо продали душу черту. И гуськом потянулись ягие[221] на кладбище к провалившимся могилам спать свою ночь на гробах.

— Кто нас увидит, тому на свете не жить! — ворчали старухи Еретицы ягие.

— А мы вас не видели! — крикнула Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

Кто-то всплеснул ладонями и застонал, — водяной Кот-Мурлышка на луну мяукал.

И все Древяницы и Травяницы вылетели из своих трав и деревьев на водопой к чистому озеру.

Глухо и грустно шумело в лесу.

Колотилом подпираясь, шел по дороге на колокольню Колокольный мертвец; ушатый в белом колпаке, тряс мертвец бородою: сидеть ему, старому, ночь до петухов на колокольне.

— За что тебя, дедушка? — окликнула Лейла, несмолчивая.

— И сам не знаю, — приостановился мертвец на мосту, — и набожный был я, хоть бы раз на посту оскоромился, не потерял и совесть Божью и стыд людской, а вот поди ж ты, заставили старого всякую ночь до петухов сидеть на колокольне! Видно, скажешь лишнее слово и угодишь...

— У тебя язык, дедушка, длинный?

— Нет, не речливый! Нет, не зазорно я жил, не на худо, не про так говорил, и колокольному звону я веровал...

— А зачем ты, дедушка, веровал?.. ты бы лучше в колокольню не веровал, дедушка!

— Нет уж, видно, за слово: скажешь лишнее слово и угодишь.

— А как ты узнаешь, дедушка, которое лишнее, а которое не лишнее?

— То-то и дело, как ты узнаешь!

— А если который немой, не говорит ничего?

— А не говорит ничего, попадет за другое.

— А кому же не попадет, дедушка?.. Дедушка, скучно?

— Да что за веселье! Из любых любую выбрал бы муку! Девять ден я в аду пробыл и ничего: по привычке и в аду хорошо, свыкнешься и кипишь. А тут посиди-ка: холодно, ветер гуляет. Пришла мне навек колокольня, да видно, и по веки, там мое место и упокой.

— Дедушка, всем попадет?

А мертвец уж тащился на свою колокольню, колотилом подпирался, тряс бородою, и блестел по дороге его мертвецкий белый колпак.

Брякнули звонко ключи, щелкнул колокольный замок: там его место и упокой.

И сеяла ведьма-чаровница любовные плевелы, зельем чаровала красавая землю-мать.

Глухо и грустно шумело в лесу.

Тихие подошли тучи. Покропил дождь.

Длинноногий журавль стал на крутом берегу, закрыл глаза. За колючим кустом забулькало по-ежиному.

— А я журавлей не боюсь! — шепнула Алалею Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

И, прижавшись друг к другу, под вербою они коротали ночь.

Тихо разбрелись тихие тучи: туча за тучей, облако за облаком. Утренник-ветер, перелетая, обтрясал дождевики. И белый свет рассветился.

И восходило солнце, сеяло ясное чистым серебром. И золотые солнцевы метлы смели всю черную сажу ночи.

Задушницы[222]

Предрассветные скрытые сумерки стянулись

лисьей темнотой.

Ветер веянием обнял весь свет и унесся на белых конях за тонко-бренные облака к матери ветров, оставив земле тишину.

Унылый предрассветный час.

Белая кошка — она день в окно впускает — лежит брюшком вверх, спит, не шевельнется.

Синие огни, тая в тумане, горят на могилах. По молодому повитью дубов лезут Русалки, грызут кору. И, пыль поднимая по полю, плетется на истомленном коне из ночной поездки Домовой.

Унылый час.

Ангелы растворили муки в преисподних земли, солнца и месяца. И сошлись все усопшие — все родители с солнца и с месяца, и другие прибрели из-за лесов, из-за гор, из-за облаков, из-за синего моря, с островов незнакомых, с берегов небывалых на предрассветное свидание в весеннюю цветную долину.

В их тяжком молчании — речь их загадка — лишь внятен: плач без надежды, грусть без отрады, печаль без утехи.

А глаза их прощаются с светом, с милой землею, где когда-то, в этот день

Зеленой недели, справив поминки, и они веселились, где когда-то, в этот день

Зеленой недели и они, надеясь, вспоминали. Но старая мать, Смертушка-Смерть, тайно подкравшись незнаемой птицей, пересекла нить жизни и, уложив в домовище[223], опустила в могилу.

Вот и тоскуют. А прошлое — прошлые дни — безвозвратно.

Надзвездный мир — жилище усопших.

Туда не провеивают ветры и зверье не прорыскивает, туда не пролетывает птица, не приходят, не приезжают, — сторона безызвестная, путь бесповоротный.

Унылый предрассветный час.

Ангел-хранитель[224]

Звездной ночью неслышно по полетному облаку прилетел тихий ангел.

— А куда дорога лежит? — взмолились путники ангелу, — третий день мы в лесу, истосковались, Леший отвел нам глаза, кругом обошел: то заведет нас в трущобу, то оставит плутать.

— Вы его землянику поели, вот он и шутит.

— Ангел! Хранитель! Ты сохрани нас!

Ангел послушал, повел на дорогу.

А там, на прогалине, где трава утолчена, у кряковистого дуба, сам Леший-дед сивобородый, выглянув, шарахнулся в сторону, а за ним стреконул зверь прыскучий.

Сошла беда с рук.

— Ты сохранил нас!

Лес истязный — ровный, без сучьев.

Много в ночи по небу Божьих огней.

Корни ног не трудят. Ходовая тропа.

Путь способный.

— Помнишь ты или не помнишь, — сказал ангел безугрознице Лейле, — а когда родилась ты, Бог прорубил вон то оконце на небе: через это оконце всякий час я слежу за тобой. А когда ты умрешь, звезда упадет.

— А когда конец света?

— Когда перестанет петь Петух-будимир.

— Золотой гребешок?..

— С золотым гребешком.

— А правда, будто ворон в великий четверг купается в речке и все его воронята?

— Третьего года купались — у Волосяного моста.

— А земля... земля тоже ходит?

— На железных гвоздях.

— А я хотела бы, очень хотела бы сделаться... мученицей... — задумалась Лейла.

Реже лес становился. Открывалась поляна. Ночь уходила и звезды. Падала роса на цветы.

И разомкнулась заря.

— Мне пора, — сказал ангел, — нас триста ангелов солнце вертят, а уж заря.

И так же неслышно по быстролетному облаку отлетел тихий ангел.

Рассыпались просом лучи по траве.

— Ангел Божий, ангел наш хранитель, сохрани нас, помилуй с вечера до полуночи, с полуночи до белого света, с белого света до конца века!

Спорыш[225]

С первым цветом, опавшим с яблонь, опало с песен унывное

лелю [226], и с ленивыми тучами знойное уплыло купальское

ладо [227]. Порастерял соловей громкий голос по вишням, по зеленым садам. Прошумело пролетье[228]. Отцвели хлеба. Шелковая, расстилая жемчужную росу, свивалась день ото дня с травой трава. Покосили на сено траву. Стоит теплое сено, стожено в стоги — в ширь широкие, в высь высокие — у веселой околицы.

Прошла страда сенокосная.

Коса затупилась. Звоном-стрекотом — эй, звонкая! — разбудила за лесом красное лето.

В красном золоте солнце красно, люто-огненно пышет. Облака, набегая, полднем омлели: не

одолеть им полдневного жара. И те белые ввечеру — алы, и те темные ввечеру словно розы. Лишь в лесной одинокой тени листьями шумит кудрявая береза, белая веет, нагибая ветви.

Буйно-ядрено колосистое жито. Усат ячмень. Любо глянуть, хорошо посмотреть. Урожай вышел полон.

Стоя, поля задремали.

Пришла пора жатвы.

Тихо день коротается к теплому вечеру. К западу двинулось солнце, и померкает.

Уж вечер на склоне. Затихают багряны шаги.

Путники поле проходят, другое проходят. А над дремлющим полем во все пути по небесным дорогам рассыпает ночь золотой звездный горох.

— Здравствуйте, звезды!

Видная ночь. Мать-земля растворяется.

— Ты самое Ночку темную видел? Где ее домик?

— За лесами, Лейла, за тиновой речкою Стугной — там, где бор шумит...

— Она — что же?

— Она в черном: перевивка на ней золотая, пересыпана жемчугом. Она легче пера лебединого.

— А где буря живет?

— Буря в пещерах. Ее, когда надо, вызывают криком хищные птицы.

— А хищные птицы какие?

— Черноперые птицы — красные когти, они прилетают из подземного царства.

— А радуга?

— Радуга собирает воду.

— А откуда тучи идут?

— Тучи откуда...

— Вот и не знаешь! А дырка-то на небе! Разве ты не заметил?

Так птичкой болтая, говорунья Лейла делит с Алалеем дружную ночь. Зорко смотрит она, разбирает дорогу: запали пути — заросла вся дорога.

Путники поле проходят, другое проходят. Не сном коротается ночь.

Так и есть, это — Спорыш. Там — в колосьях-двойчатках! Как он вырос: как колос! А в майских полях его незаметно — от земли не видать, когда скачет он скоки по целой версте.

— Что он делает там в огоньке? — ухватилась ручонками Лейла: а сердце так и стучит.

— А ты не пугайся: он веноч вьет.

— Из колосьев?

— Колосьяный венок, золотой —

жатвенный . А кладут венок в засек[229], чтобы было все споро, хватило зерна надолго.

— Сам он его понесет?

— Нет, он отдаст его самой, самой пригожей, и она, как царица, понесет венок людям.

— Мне бы... хоть один колосок!

— А ты попроси.

Потухают звезды — звезда за звездой — робко бродят, разливают лучи. Потянул зорька-ветер. Тонкий вихорь обивает росу с темного леса.

И разомкнулась заря — Божий свет рассветает.

Ой, как звонко смеется!

Лейла смеется так звонко.

Крепко держит она свое счастье. Лейле Спорыш отдал венок. Веселы будут дни.

И царица — вольница Лейла в колосьяном венке, а из колосьев, как два голубых василька, и видят и светят глаза.

— Ну а ты, Алалей?

— А я старым козлом за тобою, пусть завивают мне бороду![230]

— А песни ты не забыл?

— С этой дудкою, как позабыть!

— Да ты погульливее!

— Без песни свет обезлюдит.

Ой, как звонко смеется!

Лейла смеется так звонко.

Как весной из-за моря слетаются птицы, так потянулся с серпами народ в раздолье — на поле. Чуть надносится голос жатвенной песни, а за песней хоронится пляска.

И восхожее солнце высоко восходит, далеко светит через лес, через поле.

— Здравствуй, солнце!

Лютые звери[231]

Летние дни короче — холоднее солнце.

Не чирикают птицы, не щиплет коростель колосья, пчелы состроили соты, и не блестит лист на березе.

Рябина зеленая, в ожерелье поникшая, — красная ягода.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, куда ночью водил меня сон!

— Отчего ж ты меня не покликкала?

— Да мне не страшно, — ластится Лейла.

— Нет, ты боялась.

— Только немножко.

— А что тебе снилось?

— Мне снилось... Я попала на поле, на поливанское поле! Не сухой тростник — стоит войско, не серые пчелы — летают пули, валяются тела, что лесные стволы, падают головы, что лесные листья, и течет кровь — стремнистая речка. А из-за крутых гор страшные грозною тучей идут на нас... И вдруг будто ночь, я скачу на коне — сивый конь, красное седло. Лучатся шпоры, светятся подковки. Я степью скачу — ветер шумит, наступлю на камыш — огонек сверкает. Через рощу скачу — в роще падает роса. Вышла на поле — солнце взошло. Солнце взошло!

— А мне снилось, Лейла, будто ты в колыбели маленькая такая. Взял я тебя на руки, вот так, и понес.

— Не урони, Алалей!

Алалей запел песню. Подхватила Лейла любимую песню.

Пели вместе, не заметили: на зайца наткнулись.

На меже сидел заяц, наостря ухо, чесал себе спинку.

— В роще рубили деревья, — разговаривал сам с собою усатый, — возле рощи тесали, увезли на большую дорогу, будут строить новую лодку. По углам у лодки будет по кукушке.

— А мы будем кататься! — обрадовалась Лейла, соскочила на землю к зайцу.

А зайца не видать ушей — ускакал усатый.

Тихо. Тихая погода. Безветрие.

Земляной зеленый лягушонок свистит свою песню комарикам тонко.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горносталя, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, к нам идет тигр!

— Постой, ты где его видишь?

— Да вон, рыжий, лапы медвежьи... он нас не тронет?

— Да это росомаха — северный тигр: он легок, как заяц, умен, как дрозд.

Росомаха немало была удивлена, слыша разговор Алалея и Лейлы. Росомаха догадалась, что им понятен язык зверей и птиц, — ели, должно быть, змеиную кашу! — и, не собираясь их трогать, близко подошла к ним и сказала:

— Путники, куда вы идете?

— К Морю-Океану, — ответила Лейла.

— К Морю-Океану? — переспросила росомаха.

— Да, тигр, — подтвердил Алалей, — нас отпустил сам кот Котофей Котофеич.

— Ведь это не очень далеко, за медвежьей берлогой?

— У! куда ваша берлога, дальше!

Росомаха немного смутилась.

— А вы Слона видели? — нашлась росомаха.

— Какого Слона?!

— А тут неподалеку, вы никому не рассказывайте, живет один Слон Слонович[232]. Мы, звери, скрываем Слона.

— Покажите нам вашего Слона!

— Уж и не знаю, — сказала росомаха, пожалевши, что зря сболтнула.

— Мы его трогать не станем.

— Ну, ладно, — сдалась росомаха и повела их Слона показывать.

Долго шли они лесом, пробирались сквозь чащу, проходили по грядам, по гривам и золотистым мхам, перепрыгивали через пни и колоды, через защербившийся пень ели, через побледневший пень березы, через позеленевший пень осины, через покрасневший пень ольхи и вышли в орешник.

— Я сейчас, я вас догоню, — сказала росомаха и грешным делом завернула за кустик.

И уж одни они шли без тигра, щипали орехи.

А за орешником открылась поляна.

Тут на поляне стоял старый-престарый Слон с клыками, весь с головы обросший длинною редкою шерстью.

— Здравствуйте! — сказал вдруг Слон и, помахав хвостом, стал медленно подымать хобот.

И не то чтобы испугавшись слонова пальца, а скорее от неожиданности, воскликнула Лейла:

— Нас привел к вам тигр, вон и сам он!

Росомаха подошла, как ни в чем не бывало.

— Не надоедайте долго Слону, — шепнула росомаха, — Слон смиренный, как рябчик, а осердится, живо в клыки.

— Расскажите нам что-нибудь, Слон Слонович! — стали просить Слона Алалей и Лейла.

— Да, расскажите что-нибудь, Слон Слонович! — поддакнула росомаха и опять шепнула: — Не дергайте Слона за хвост, Слон не любит.

— Про мышь и сороку, хотите? — Слон улыбнулся и взвив высоко хобот, пожевал нижнею длинною губою.

Алалей и Лейла, усевшись под самый слоний хобот на разбросанные кругом по поляне старые слоновые зубы, приготовились слушать. С ними на зубы уселась и росомаха.

— Жили-были мышь да сорока, — рассказывал Слон Слонович, — сорока сор метет, мышь огонь добывает. Так и жили. Раз ушла мышь за сеном, наказала сороке щи мешать. Сорока стала щи мешать и упала в горшок. Вернулась мышь, стучит: «Сестрица сорока, отвори, отвори!» А уж где отворить, если ни лапок — ничего: все во щах сварилось. Мышь отыскала щелку, пробралась во двор, отворила сарай, втащила воз сена, сено опростала и вошла в избу. Вошла мышь в избу, вынула из печки щи, принялась за еду. Попалась ей сорока. Обглодала она сороку дочиста, сделала из хребта лодку...

— По углам у лодки по кукушке! — перебила Лейла.

— Не мешайте Слону рассказывать, Слон спутается, — заметила росомаха.

А Слон уже спутался и начал Слон совсем про другое: то про какой-то хвост закорючкой, то про какую-то свинью полосатую да мерина, как приятели чуть-чуть было не съели друг дружку.

Росомаха долго наводила Слона на ум.

Наконец-то Слон опомнился.

— Тут ничего нет смешного и смеяться нечего, смеются одни индейские петухи, — сказал Слон Слонович и продолжал сказку: — Ну, сделала мышь лодку, спустилась к речке, уселась в лодку и поехала: у песчаного берега шестом отпихивается, у крутого берега веслом правит. А шест у ней из хвоста выдры, а весло у ней из хвоста бобра. Идет заяц: «Сестрица мышка,пусти меня!» — «Не пущу: лодка мала!» — «Я на задних лапках постою». — «Что с тобой делать, иди!» А потом и лиса, а потом и волк, все просятся в мышкину лодку. Мышка всех и пустила. Идет медведь: «Сестрица мышка,пусти меня в твою лодку!» — «Нас самих много: ты, косолапый, не поместишься!» — «Я на одной ножке постою». — «Иди, что с тобой делать!» Медведь уселся, лодка опрокинулась, и все потонули.

Слон опустил хобот, пощекотал пальцем слушателей и, махнув хвостом, сказал:

— Уж солнце садится, завтра будет ветрено.

— Поблагодарите Слона и идемте, Слон хочет спать, я вас на дорогу выведу, — шепнула росомаха.

Алалей и Лейла встали, поблагодарили Слона, погладили хобот — хобот у Слона Слоновича мягкий! — и тихонько пошли за росомахой.

Солнце уже скрылось, и только на холмах все еще лежал красноватый закат — солнце мертвых, словно разбрызгалась светлая кровь, как земляника.

— Болотом будет идти вам страшно, повернемте-ка лучше к речке, там я и распрощусь с вами, — сказала росомаха.

— Почему будет страшно?

— А Лобаста?

— Какая Лобаста?

— Да разве вы никогда ее не встречали?

— Нет, не встречали.

— А корову с шишкою на лбу видели?

— Нет.

— А коня с ногами без шерсти?

— Вы, тигр, нам про Лобасту скажите! Какая Лобаста?

— А-а, испугались! Вот она такая Лобаста! Попадете к ней в болото, не спустит. Ростом Лобаста, как эта осина, тело белое, что заячий пух, а ручищи, словно крылье с красным когтем, словит да этим когтем, хоть и нежен он, что костяника, а защекочет до смерти.

— А мы тише тени пройдем, она нас и не словит.

— А жеребенок с соломенными ногами?

— Вы, тигр, все нарочно! Мы жеребенка вашего не боимся!

— Вон и речка, — остановилась росомаха, — ишь берег-то, словно хвоя, когда висит на ней соболь.

— Вы, тигр, так знаете много, научите нас! — уцепились путники за росомаху.

— Чему же я вас научу! Мы тигры — зверь лютый. Ну, учитесь играть, как играет плотва, плескаться, как плещется сиг, метаться, как мечется щука, широко гулять, как гуляет лещ, и будьте бодры, как язь! — и, сверкнув белым зубом, побежала росомаха в лес.

А они пошли берегом.

Подул ветер. Гудело в роще.

Серые улитки подымали рога — смеркалось.

У ивы гусь стоял, вытягивал по-змеиному шею.

— Прощай, гусь лапчатый, ты улетаешь? — прощалась Лейла.

— Улетаю, — прокричал ей гусь.

— В теплый край!

— За синее море.

— Кланяйся, лапчатый, — не забудешь?

— Буду кланяться, буду.

Гусь полетел: пора собирать гусиную стаю да в путь отправляться — путь длинный за синее море.

Вышли звезды, полетели по небу. Голубое небо усеяно белым серебром — гулянья конца нет. Падают звезды.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей,

наша лодка плывет!

— Ты где ее видишь?

— Да там...

— Это не наша, это

мышкина лодка, вон сама мышка, вон заяц, лиса, волк и медведь.

— А наша там — там... По углам по кукушке.

Они поднялись на холм. Развели огонек.

Под кленом в огоньке коротают ночь.

«Мышкиной лодки больше не видно, она потонула. И нашей лодки больше не видно, она уплыла в море».

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

«Наша лодка плывет теперь по морю. Выпадет ли счастье на нашу долю или придется нам плыть по середине, не видя конца, не видя берега, идти от волны до волны, не видя конца, не видя берега?»

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

Тихо спит Лейла, руку прижала к сердцу. Рассыпались русые косы. Ей снится, она в белом, как невеста, она сидит за белым столом, как невеста, цветет алою розой.

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

А ветер-голубь[233] хлопает крыльями, а глаза его полны слез: скоро он останется в поле

один.

Минуло лето, приходит милая осень.

Ведогонь[234]

Заболотела река. Покрыты дерном в поле распашистые полосы.

Скошен луг, убран хлеб, кончен сев, отошла брусника.

И срывал ветер листья с деревьев, нес их, колебля, по воздуху; просушив, откатывал, шурша, посторонь осиротелого дерева.

Загружалось листьями озеро.

Золотой кудрявый лес редел с каждым утренником, редел с каждым солнышком. Летала паутина вдоль по лесу, подымалась цепкая до маковки и, скатясь по ветвям, обскочила круг пустынного дерева.

По утрам на заре, промерзая, становилась паутина прозрачней и легче и, свившись червем, качалась в дырявых покинутых гнездах.

Доступила на пегой кобыле дождливая осень. И ушли прощальные ясные дни.

Дождливая сонная осень.

По берлогам звери заснули — им тепло, мохнатым, им все будто лето.

Ветер, гуляя по полю и лесу, шумит на просторе.

И поднялись у берлог Ведогони, стоят, караулят спящих зверей. У каждого зверя свой Ведогонь-охранитель.

Стоять караулить под дождем у берлоги — скучно. И скучно и зябко. От нечего делать Ведогони дерутся друг с другом, — даже до смерти.

Беда: не осилить и покориться! Кончит свой век Ведогонь, и зверь Ведогоня кончит во сне звериные дни.

Так немало зверей погибает в осеннюю пору неслышно.

Ветер все глуше. Ночи длиннее. Зазимье.

Счастливый, — тот, кто родился в сорочке, у того тоже есть свой Ведогонь-охранитель, как у зверя.

Вот, ты, счастливый, заснул, а твой Ведогонь вышел мышью, бродит по свету. И куда-куда не заходит, на какие на горы, на какие на звезды! Погуляет, всего наглядится, вернется к тебе. И ты встанешь утром счастливый после тонкого сна: сказочник сказку сложит, песенник песню споет. Это все Ведогонь тебе насказал и напел — и сказку и песню.

Счастливый, ты родился в сорочке, берегись, коли дрема крепко уводит, — твои дни сочтены.

Ведогони драчливы — встретятся, заденут друг друга, и пойдет потасовка, а после, смотришь, и нет одного, какой-нибудь кончил свой век. А ты не проснешься, ты счастливый, ты сказочник, песенник кончишь во сне свои дни.

Так немало счастливых гибнет в осеннюю пору неслышно.

Летавица

Плывучие — ой нелюдимые — пасмурно замкнуты тучи. Сея, как ситом, тихо падает семень — осенний обложной дождь.

Багряный яхонт — цвет прощальных дней — погаснул. Окончились румяные унывные закаты. Обносит вихорь хвои с сосен. Дрожат обломанные ветви. Обиты, приопали листья.

Печальны поздние отлеты птиц.

Вчера последняя простилась стая. И там, где озеро заволокло травой, в затоне пропела лебедь.

Отошло веселье.

Попрятались за тучи звезды.

Беззвездна, хмура осенняя ночь.

Глядя на ночь в такую погоду, недалеко уйдешь. Ветер, — все, сколько есть всего ветров, поднялись и звенят. Нет от ветра затулы[235]. И сама терпеливая Найда, хвост поджавши, забила в конурку, забыла, как тявкать.

Постучались в избушку.

— Я — Алалей. Моя спутница — Лейла.

— Что вам тут надо? — высунул морду двуголовый конь с золотыми ушами, конь Унеси-голова.

— А чья тут избушка?

— Как чья избушка?! — замотал головой двуголовый, — это терем старого Вия.

— Вия! — голоса у путников стали, как струнки: пропадут, тут им живу не быть, — того самого Вия:

Подымите мне веки, ничего не вижу!

— Того самого

о железном пальце . Нынче Вий на покое, — зевнул одной головой конь двуголовый, а другой головой облизнулся, — Вий отдыхает: он немало народу-людей погубил своим глазом, а от стран-городов только пепел лежит. Накопит Вий силы, примется снова за дело. А

Пузырь [236] с клещами да с жалами помер.

— Пусти, конь, обогреться!

— Пустишь вас... уж сидит один странник. А вы кто такие?

— А мы перехожие люди, бродим по свету от дерева до дерева, от камня до камня, а идем мы в дальне-далече к Морю-Океану.

— Да вы не с Бурь-болота от Кукураковны?[237] Прошлым летом такие шатались.

— Нет, мы не такие... Прошлым летом мы

посолонь [238] шли с Котофеем.

— А с Латымиркой-ведьмой знаете?

— Про седого Ауку мы знаем.

— Ну, идите! Да осторожней! Глядите под ноги. Тут лежат вилы. Не наткнитесь! Это — вилы самого Вия: вилами Вию подымали веки! — и конь, колесом завивая гриву, расстилал долгий хвост по земле, светил золотыми ушами дорогу.

И очутились путники в избушке у Вия.

Конь Унеси-голова, пока стол накрывали, взялся показывать хозяйство.

Большое хозяйство у Вия.

Первая горница — золото. Там живут муравьи: день-деньской только и дела им — тащут со всех концов муравьи к Вию в избушку червонное золото. Вторая горница — коневая, Коню принадлежит: убранство богатое: Третья горница — за столом сидит семеро, и все они сини, синее котла, и все, как один, без голов.

А в другие скрытные горницы Конь не повел — небывалому страшно! И только позволил разок через щелку взглянуть.

Там жар, там огни горят, мигуны там помигивают, свистуны там посвистывают, стук, брякотня, безурядица, там громы Ильинские, морозы Крещенские, петухи с вырванным красным хвостом, козьи ноги, пауки, злые собаки, — все хвостатое, хоботатое, там говор, гул, шип и покрик — нежеланные.

Не оторваться от щелки. Любопытство так и берет.

Но Конь уж уводит к столу: ужин готов.

Сели за ужин.

Служила собачка: подавала миски, меняла тарелки. У собачки личико острое, ровно у мальчика, только ушами собачка все пошевеливала.

Позвали к столу и странника. Странник послушался, слез с полатей, повертел ложкой, покатал из хлеба катушек, а есть не ел, отказался.

А кормили, чем Бог послал, и все, как следует. И только за кашей подползли к гостям три муравья, покусали немного и тихонько опять отползли.

На заглядку Конь рассказал: какой он был конь. Конь когда-то стоял, не простой, за двенадцатью замками, за двенадцатью дверями, на двенадцати цепях, а держал он поскоки горностаевы, повороты зайца, полеты соколиные. И уж стал было Конь представлять свои прежние поскоки, да в ногу ступило.

И пошел себе Конь в свою горницу, и собачка за ним.

Конь-то конем и собачка собачкой, только Бог с ними! — все как-то жутко.

Вий спит за перегородкой, только носом подсапывает. Да мыши под полом бегают, малые серые мыши скребутся в углах. У мышек хвостики длинные.

— Эй, странник Божий, ты тоже не спишь?

— Во всю ночь не засну.

— Страшно?

— Нет, я не боюсь.

— Что же ты?

— Воли мне нет.

— Как так?

— Да так.

— А ты расскажи!

— А вы заботитесь?

— Не забоимся, рассказывай!

Странник подвинулся ближе, посупился.

— Я не помню, — рассказывал странник, — как пришла она, взяла мою волю, мои печальные дни: пристала ко мне Летавица[239]. Слышали вы о Летавице? Красота ее краше всех, лицо ее девичье, вольные волосы золотые до самой земли. Всякую ночь приходит она: или ложится в ногах, или станет и смотрит всю ночь и, лишь ветер подует под утро, исчезнет. Слышали вы о Летавице? Я оставил мой дом, бросил все и пошел. И, как лист в непогоду, скитаюсь по белому свету — только б ее из сердца прочь! Шатается тень моя, спотыкаются ноги, а дума о ней не проходит. Побывал я в Москве и у Троице-Сергия, в Соловках у Белого моря и в вятских лесах у Николы Хлыновского[240]. Не помогло богомолье. Вот и хожу. Как трава, сохну и вяну. Не по силам мне мука. Она всюду за мной по пятам: станет и смотрит всю ночь...

— Постой-ка, мы ее видели!

— Где, где она? — задрожал странник, как лист.

— А в горохе мы ее видели.

— В горохе?..

— На Бориса и Глеба. Шли мы горохом — порх! — и наткнулись: лежит такая кра-са-вая! Золотые волосы всю с головой опутали, глаза, словно колодцы, а сапоги на ней красные...

— Она! Она самая! — стукнул по столу странник, а за перегородкой у Вия заворочалось, — да вам бы сапоги ее красные снять с нее и унести, да она бы для вас без сапог все тогда делала: ей сапоги — что птице легкое крылье! И меня бы избавили... Экие вы! — счастье проглупали.

— А ты о Басаврюке[241] что-нибудь знаешь? — хотела поразить странника Лейла.

Но странник и Басаврюком не подзадорился, странник ничего не ответил. Да вдруг как выпучит глаза — не стерпели огромные, налились глаза черною кровью, стиснул он зубы, почернел, что земля, а руки замлели. Знать, пришел его час: стала Летавица.

Он навеки ее нерушим, с нею свой век навекует.

Ночь сменилась серым утром.

Из сырой земли, как из теплого гнезда, за клубился пар.

Красный след Летавицы мелькнул в дверях.

Старый ворон, перелетывая с ветки на ветку, словно все усмеялся, вещий ворон, граючи [242], каркал.

Странник тихо лежал: охолонул, бесприкладный.

Вышел из-под лавки Лизун[243] толстомясый — пятки прямые, живот наоборот. Походил Лизун по горнице, ничего не сказал и спрятался.

А они все молчком обмалчивались: собирали сумки — снаряжались в путь.

Пришла на задних лапках собачка: на собачке зеленый колпак в кружочках. Напоила собачка их чаем, воровато сунула сухариков в сумки:

— Берите!

Топ копытом — Конь появился, сам конь Унеси-голова.

Пожурил Конь собачку, что коровы прожорливы стали: солому поели, сено подобрали. Потом и к гостям обратился: подарил им сушеный

медвежий глаз на веревочке.

— Станет страшно, — сказал Конь, — надень, и страха как не бывало.

Дал подержать им в руках Меч-самосек.

Поддержали они в руках Меч-самосек, поблагодарили Коня за

медвежий глаз, ну и в дорогу.

Собака махала им лапкой.

— А

Пузырь с клещами да с жалами помер! — мотал головами Конь двуголовый, провожая гостей в сени.

И пошли себе путники дальше.

Колесиста дорога. Сиверко. Дождь моросит. Греют путники в пазухе руки. По колению в грязи.

Не поддавайся упорному ветру!

А уж скоро ударят морозы — синие крупные звезды сверкнут. В звездах ночь засветит ясной луною. Весело снег захрустит.

Змеиными тропами

Копоул Копоулыч

Занесло все дороги, все летние тропинки, замерзли болота, застыли ручьи, сравнялись реки, засумерился день, легла зима — легли снега, путь стал.

Скрип ворота, — мороз на дворе!

У Копоула тепло. Хорошо и тепло Алалею и Лейле зимовать у Копоула в теплой избе.

И светла и просторна изба Копоула, что Кощеев дворец. Много собрано в ней всяких волшебных диковин, как у Кощея: меч-самосек, топор-саморуб, палка-самобойка, гусли-самогуды, ковер-самолет, санки-самокатки, сапоги-скороходы, шапка-невидимка, скатерть-самобранка.

Копоул — сам хозяин — кум Котофея, ворчливый шамчун: не может ни скоро сказать, ни скоро пройти, то щами подавится, то лапшей захлебнется. Но зря никогда Копоул не похвалится небылыми речами и по правде слово рассудит. Носит Копоул от сглазу лапу слепого крота, и, хоть не надо ему колдовской неодолимой защиты, пьет всякий день настой жабьей косточки.

Одиноко в лесу живет Копоул среди лютых морозов в Кощеевом царстве. Баран, и гусь, и петух давным-давно ушли от Кота, и лисица ушла от Кота.

— Что за шерсть, что за хвост! — вспоминает Копоул свою неверную лису, свое прошлое семейное житье-бытье.

А неукротимые звери — соседи Копоула — куцый волк, который волк хвостом в проруби рыбку ловил, да с отрубленной лапой медведь, который медведь к старику и старухе по ночам приходил, пел свою страшную медвежью песню, — волк и медведь сами на старости лет и недолуки и неудаковы. Волк еще хорошо языком ищет соринки в глазах, но о хвосте успел позабыть, а медведь, хоть и не прочь спеть свою страшную песню, да не страшно нисколько, и не забьет косолапый вола, как бывало, не закусит зайцем, как бывало.

Сойдутся свирепые неукротимые звери из своих заброшенных лубяных и ледяных избушек к Коту для совета и знай одно себе: дружно Копоулу подхрапывают.

Который ворон летает за море и приносит живую и мертвую воду, вещей за все зимовье — от ноября до февраля — даже ни разу не каркнул и только на Наума — в именинный кошачий праздник показался в Кощеевом царстве: сам пришел в гости к коту Копоулу.

А который кузнец Требуха сковал Бабе-Яге тонкий голос, еще третьего года пирогами объелся и приказал долго жить после Никольщины.

Не надо Копоулу колдовской неодолимой защиты.

Глаза Алалея и Лейлы — не злые, не сглазят.

— А кто вас знает! — говорил Копоул, принимая слова их в досаду, и сам крепко держался за лапу слепого крота.

Расседает земля от мороза.

Тяжки и плящи морозы.

В чистом поле белеют снега. И лишь ель и сосна зеленят белую зиму.

А в метельные ночи старый черт закрывает месяц косматою шапкой, и метель, набрав снега, размахнется комом и пустит в окошко.

От ноября до февраля — волчье темное время.

Стучат зубами голодные волки.

— Копоул Копоулыч, не косоурьтесь, расскажите-ка сказку! — просит Лейла.

И знает Копоул, знает и перезнает много всяких доук и балагурья, да чуфырится: как можно, ведь тысячу и одну ночь терся кот в коленях у Шехерезады, когда рассказывала Шахриару сказки Шехерезада!

— Это ни к чему не поведет, это, похоже, не выйдет! — вот и весь сказ Копоула: и на речи не ставится и на сговор не сдается.

Скуки ради ходят Алалей и Лейла из горницы в горницу, смотрят в окно. И сколько раз, провожая студёные дни, нетерпеливые, они пересчитывали лысых, чтобы на двенадцатого лысого мороз пересел. Не слушал мороз Алалея и Лейлы: нагуляется по двору, засядет и сидит трескун на Кощеевом озере, выставит ветру свой красный нос.

Расседает земля от мороза.

Тяжки и плящи морозы.

Кует зима звездный небесный свод.

Днем, как и ночью, норовил Кот поспать, похрапеть, повалиться, позевать, потянуться, и уж ты от Кота ничего не добьешься — ни за холодную воду. Но напал добрый стих: вдруг раздобрится Кот, поведет долгим усом, — и начинается сказка, ладно удуманная, хорошо улаженная, зимняя копоулова сказка.

Упырь[244]

Не ведьма Дундучиха застилает на ночь стол скатертью, не ступой закостила наброжая — кроет землю белый снег, летят-падают хлопья надранными лохмотьями, воет, вьется вьюга, выбухает вихорь, метет метель-поземелица, закуделила.

Третий день и грустна и печальна коротает дни в серебряном тереме царевна Чучелка.

Третий день, как печален и грустен уехал царевич Коструб за Лукорье.

За морем Лукорье, там реки текут сытовые, берега там кисельные, источники сахарные, а вырии -птицы[245] не умолкают круглый год.

Полпути не проехал царевич, занемог в дороге и помер. И в чужом краю его схоронили.

Вот среди ночи слышит царевна, под окном кто-то кличет:

— Чучелка, Чучелка, отвори!

Вся зарделась царевна: узнала Коструба.

Думает царевна: «Это он, это жених, царевич вернулся с дороги!» Встала. Отворила.

— Бери свои белые платья, жемчуг. Я в чужом краю завоевал себе землю, мой подземный дворец краше Лукорья.

Надела Чучелка белые платья, жемчуг. Спешит на крыльцо.

А он ее за руку и на коня.

Взвился конь и помчались.

Мчатся. Мчится царевич с царевной. Страх змеей заползает на сердце: видит царевна, под нею не конь, таких не бывает, а ветер.

Ветер-вихорь несет их сквозь темные леса, сквозь мхи и болота — ржавцы болота в шары-бары — пустое место.

Поравнялись с церковью, повернули на кладбище.

Тут конь исчез.

И вдвоем остались они над могилой: царевич Коструб и царевна. А в могиле чернеет из-под снега дыра.

— Вот мои земли, там мой дворец, там мы отпразднуем свадьбу: дни будут вечны и пир наш веселый без печали, без слез... — полезай!

— Нет, — отвечает царевна, — я дороги не знаю, ты — наперед, я — за тобою.

Послушал царевич царевну, пропал в могиле.

И одна осталась царевна над черной дырой. Сняла с себя платья — да в могилу.

— На же, тяни за собою. Вот белые платья, вот жемчуга! — и, сбросив в могилу все до сафьянных сапожков, заткнула дыру, да бежать без дороги по снегу, сама не знала куда.

Летела царевна, летела — вдалеке огонек мелькает — прытче бежит. Добежала, смотрит: изба — одна одинока изба стоит среди поля. Бросилась к двери, вломила в сени, да в горницу...

Мертвец на лавке лежит, больше нет никого, и светит свеча.

Царевна со страха на печку, забилась в угол, сидит тихонько.

А там на кладбище, а там на могиле обманутый вышел из гроба царевич. Созвал Коструб

мертвецов и полетел с мертвецами вслед по царевну.

Прилетел до избы, кричит через окно:

— Мертвец, отвори мертвецу! Будем с живым пир пировать!

Зашевелился мертвец: то ногой, то рукой поведет. А потом с лавки как встал и пошел, дверь отворил.

И нашло мертвецов полным-полна изба. Окружили печь, кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

— У меня нет рубашки и сафьянных сапожков, принесите мне: там они на могиле! — говорит мертвецам царевна.

Посылает царевич мертвеца на могилу.

И вернулся мертвец, принес и рубашку и сапожки.

И опять кличут царевну.

А она им: то, говорит, рукавичек нет, то платка у нее нет, то пояса...

Но мертвецы ей все из могилы достали: все платья, весь жемчуг до последней крупинки.

Кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

И надела царевна белые платья, жемчуг, — вышла. Вышла царевна. И в кругу мертвецов замерла.

А! как обрадован мертвый живому!

— Я тебе верен за гробом, — целовал царевну мертвый царевич, и с поцелуем живая кровь убывала — теплая кровка текла в его холодные синие жилы.

Третьи петухи пропели — мертвецы разлетелись по темным могилам, там, в могилах, облизывали красные губы.

Не вернулась царевна в свой серебряный терем. Нашли Чучелку утром — белая, как белый снег, без единой кровинки, далеко в чистом поле в мертвецкой избе.

Вьется вьюга и воет, валит и, опрокидывая, руша, сбивает с ног. Разворотила, нелегкая, дубья-колодья, замела дверь, засыпала окна — хоронит серебряный Чучелкин терем.

Холодна зима — белый снег.

Сон-трава[246]

Дождались весенней поры. Уходила зима. А была она долгая и суровая — снег по пазуху. Наступили первые теплые дни.

Ясных дней еще нет. Ясный Яр не отомкнул еще неба. Огненный, разбудил Яр черную землю.

И пусть свистит в поле ветер, пусть свистом зовет зима снег на помощь! Снег тает в поле, и раз от раза темнеет река.

Вздуется лед, тронется река — грозно Яр разомкнет горячее небо — поплывет река, и, широкая, зашумит она, как грозовое небо.

— Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы поплывем! — повторяет за Алалеем верная Лейла.

Они на воле. Так они рады весеннему первому дню.

Они на воле, они встретили первый цветок.

Как печален и грустен первый весенний цветок!

Сон-трава — синеглазый подснежник — глядела печально, и на тяжелых темных ресницах горела слезинка.

Что огорчает ей сердце? Ждет ли кого? Или нет никого, кто бы утешил печальное сердце?

У цветов есть мать, у Сон-травы — мачеха. Разбудит Яр землю. Проснется земля. Но еще спят под землею и трава и цветы.

«Просыпайся, иди на землю, там светло, там все твои братья и сестры, там играют птицы!» — скажет мачеха нелюбимой синеглазой сиротке.

И, послушная, она выйдет на землю одна, без братьев и сестер, одна из-под снега. Еще спят под землей и трава и цветы.

Ее в колыбели никто не баюкал, ее на руках никто не нянчил, ее ласковым словом никто не забавил...

Печально и грустно стоит Сон-трава — синеглазый подснежник.

В тихом вечере тихим полетом плывут по теплему небу перелетные птицы.

Птицы все прилетят в свои гнезда. И выйдет из леса медведь. И закукует горькая кукушка.

— Руки наши крепки, глаза видят ясно, и мы полетим! — повторяет за Алалеем верная Лейла.

Они на воле. Так они рады весеннему дню.

И синеглазая Сон-трава печально глядит на них.

— Ты, сестрица, дождешься солнца! — сказала ей Лейла, и далеко разносился ее голос по воле: — Солнце, солнышко, выгляни, освети! Солнце, солнышко!

Верба[247]

Уж заря, золотясь, осыпается розами в реку.

Отошли дни потемы[248], потухли всполохи[249].

Уж по заре златорукое солнце возносит руки над миром, зарное[250], нет ему белого облака, чтобы закрыться, захватить все небо.

Небо обняло землю, горячо обнимает.

И земля принялась за свой род.

Первая — Верба. Верба, еще из-под снега распушив свои алые гибкие лозы, тихо подымает веки, и седые пушистые вии озолотились слезами.

И куда ни пойдешь, и куда б ни взглянул, встретишь вестницу мая — печальную Вербу.

«Я, последний и самый любимый, рожденный в Купальскую ночь[251], расскажу тебе, Лейла, о моей матери Вербе.

Моя речь невнятна, — я очень долго молчал, мои слова странны, — я очень стар.

Я не помню, как это было, — мои руки сухи, мои пальцы вялы, а у моей матери руки были влажны и пальцы крепки.

У меня было много братьев, сестер, сестер-братьев, все они были старше и разбрелись по земле, кочуя до самого края. Их было так много, их было больше, чем звезд на небе.

Я помню — мои ноги быстры и легки, как крылья, а во лбу

свети -цвет[252] купалы. «Ты засвети свой цвет, Купало!» — сказала мне мать.

Я помню — мы шли искать новую землю: на старой нам стало тесно. Мы шли долго в ночи, раскапывали пальцами землю — гадали о будущих днях. Черная, сбросив белые снега, земля лежала под нами и, тая, дымилась, а в ее черном сердце зависть свивала гнездо.

Моя мать сильна и всех прекрасней. И пускай после мая знойные дни и жгучие вихри, и пускай по болотам в полночь, заманивая путников в гибель, сверкают огни-одноглазы, и полднем Полудницы[253] летят в пыли вихрей, и пускай, чуя мертвых, вопит Карина[254], и пускай несет темная Желя[255] погребальный пепел в своем пылающем роге, — моя мать сильна и всех прекрасней.

И на земле цветов было меньше, чем моих братьев, и на земле лесу было меньше, чем моих сестер, и на земле рек-озер было меньше, чем моих сестер-братьев.

Я не помню, как это было — а как всходить заре на гору, перед рассветом, мы вступили в болото, и вот черные руки вдруг поднялись из земли и крепко охватили мать под грудь сзади и, обняв, повлекли ее в топь за собою...

Я не помню, как это было, — я стою на краю трясины и кличу и зову мою мать: «Где найду я новую землю!» — И кличу братьев: «Где найду я мать!»

А под землею глубоко я вижу, горят, как свечи, глаза. А мать стоит — не мать, печальная

верба».

Радуница[256]

К нам! — торопитесь, весенние ветры!

Грачи прилетели, пробил лед щука[257], вскрылись реки, идут, говорливые, и распушилась верба.

Эй, ты — весна!

Ой, лелю, лелю весна![258]

Уж прошумели грозолетные тучи, неразгонные дождем пролились студеницы[259].

И ударило молотом в камень, в зеленый дуб прямо под корень.

Эй, ты — весна!

Ой, лелю, лелю весна!

По теплому небу алым развоем[260] наливается роза-заря.

Алый вечер угас, темная Стрига тьму собирает для ночи.

Ночь кипит, весенняя — распущены темные косы. А куда ни взглянешь — звезды.

Но моя душа полней печалью.

Эй, ты — весна!

Ой, лелю, лелю, весна!

К нам! — торопитесь, весенние ветры!

Уж восходит из недр ночи красное Солнце, разрываются тяжкие цепи, — низвергается Стрига.

И несутся весенние ветры из вечного лета, несут, колыхая, на крыльях семена лесу и полю, а сердцу любовь, и навевают горячую в сердце.

Эй, ты — весна!

Ой, лелю, лелю, весна!

Каменная баба[261]

Ушла зима с морозами, с трескучими...

Взошло солнце, согнало снега.

Пошла вода вольная, полноводная. Подмыла сучки, ветки, отросточки.

Весна приехала.

Весна-красна в аржаном колосе на сохе, на овсяном снопу, веселая, привезла ясные дни, частый дождь, зеленую траву.

Приударил дождь.

И раскинулись кусты, вошли ручьи в русла, зазеленели луга.

Пойте, птицы, и вечером и утром, — всем нам веселье!

Алалей и Лейла качались на качелях, мылись громовой водой, прыгали через костер. Ветер, вода и огонь их сохранят.

И уж им не сиделось на месте у Копоула в Кошечьем царстве: манил лес, поле, дорога.

— Будь здоров, Копоул Копоулыч, спасибо тебе за зимний приют: будем помнить твою ледяную горку, блины и вечера, когда рассказывал ты сказки.

— Моряне, не забудьте, кланяйтесь, как попадете на Море-Океан, её в волнах видно! — прокурлыкал Копоул на прощанье: седой кот на огороде копался, капусту да лук сажил.

И снова пошли они в путь.

От кургана к кургану их вела ковылевая степь, шелковая, колыхалась волною. Ночью месяц светил, освещая дорогу.

По небесному краю раскрывалось синее море и, разлившись широким-широко, улетало, как лебедь. Попадались верблюды: угрюмо и молча шел верблюд за верблюдом... И пробегали стада белых овец, порошили, как снег, зеленую степь.

— Эту ночь не пойдем, Алалей, заночуем тут у кургана возле той вон Каменной Бабы!

Вышли звезды, пустились по весеннему небу искать золотые ключи от восхожей зари. В тихом сне приумолкла земля.

Баба смотрит в ночь. Они смотрят на Бабу.

— Что ты, Баба? Что ты смотришь? Что ты знаешь?

— Я баба не простая, я Каменная Баба, — провещалась Баба, — много веков стою я в вольной степи. А прежде у Бога не было солнца на небе, одна была тьма, и все мы в потемках жили. От камня свет добывали, жгли лучинку. Бог и выпустил из-за пазухи солнце. Дались тут все диву, смотрят, ума не приложат. А пуще мы, бабы! Повыносили мы решета, давай набирать свет в решета, чтобы внести в ямы. Ямы-то наши земляные без окон стояли. Подыдем решето к солнцу, наберем полным-полно света, через край льется, а только что в яму — и нет ничего. А Божье солнце все выше и выше, уж припекать стало. Притомились мы, бабы, сильно, хоть света и не добыли. А солнце так и жжет, хоть полезай в воду. Тут и вышло такое — начали мы плевать на солнце. И превратились вдруг в камни.

Высокая шапка на Бабе закачалась, а руки, сложенные на животе, поднялись к высохшей каменной груди.

— Да вот тоже, непоседы вы, все-то бродите, знаю вас, не впервой вас вижу: с Волхом[262] рыскали, помню... В Духов день земля именинница, не скачите вы в зеленый день, не кувыркайтесь, не стучите, а встаньте рано да поцелуйте мать нашу землю, поздравьте! Да еще животных, скотов не обижайте, коней, оленей кормите, поите, приглядывайте...

— Баба, баба! Скажи нам, ты нас видела, ты нас знаешь, скажи нам, где лежит Море... дойдем мы до Моря-Океана?

Но Баба ничего не сказала. Баба смотрела в ночь.

А по небу звезды серебром висли — искали ключи.

Лужанки

Три белоснежные ветровы сестры — Буря, Вьюга и Метель простились с любимым братом Вихрем и ушли за море в скалы до зимних студеных дней.

Гром прогремел, ударил гром в источник до дна. Трубили небесные трубы, блистали мечи, летели стрелы. И пролился теплый дождь.

Досыта полил дождь хлебородницу землю, доверху наполнил воды — реки, луга и озера, и грозой и громом крепко натянул литые серебряные струны от берегов до берегов.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

И зазорились ясные зори, разлистился лес, зацвели все лужайки и роци, запорошились белой душистой черемухой погосты и кладбища, полетела из улья по цвету Ефрея-пчела за медом, воском, и затеснились пчелки-подружки у огорода вокруг Фелины-пчелы и Аросиды, пчел старших, перекликнулся выпью Водяной с Лешим, и на красных холмах от зари до зари застонали свирелью песни-веснянки, песни-заклички, оклики мертвых.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

Ключом закипала жизнь в обогретом, ожившем сердце — и уж плещет она, горячая, льется, кипит ключом и там в небе, и там в земле, и там в воде, и там в огне. И как просторна, как необъятна — и далеко покажется и широко поглянется! — как необъятна, необозрима весенняя молодая земля с солнцем и месяцем, с зорями и звездами!

Всем своя воля — до-вольная, разволица, разволье и раздолье.

Чуть заря занялась и по заре запела сизая птичка, а Алалей и Лейла уж на воле — в пути.

— Лейла, а куда улетели, как два голубых голубка, твои глаза-голубки, Лейла?

— Ты их не видишь?

— Где они, Лейла?

— Лужанки! Лужанки проснулись! Как они рады... Алалей, какие золотые кудряшки!

На лугу в полой воде купались Лужанки[263]. И подымали брызги, — летели, рассыпались брызги дробнее маку. Так весело, так рады были заре Лужанки. И кудрились их золотые кудряшки.

— А мне, Алалей, можно... Я им скажу: вы мои братцы — Лужанки, я ваша сестрица Аленушка. Они меня пустят? Я сестрица Аленушка! И ты тоже скажешь...

— Лейла, солнце встает.

И загорелось, встало солнце, и под солнцем загорелась земля, и в первых лучах скрылись Лужанки.

— Где мои Лужанки?

— Улетели в лучах...

— А на лугу?..

— На лугу их ночь, — на лугу они спят. На лугу их утро, — на лугу они умываются, чтобы к солнцу лететь.

— Какие золотые кудряшки! Алалей... я — не Лужанка?

— Ты... ты сестрица моя Аленушка — Лейла!

Лейла под солнцем вся золотая. Как два голубых голубка, ее глаза-голубки улетели с лучами, за первыми лучами, — за золотыми Лужанками, к солнцу.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

Крес

Эна какая — разливная весна! Пovyтаял снег с полей, пovyнесло лед с реки, разошлась вода

со льдом, разлились реки с гор, протекли мелкие речки — бьют ключи, и, круглые, полные с берегом, катят озера.

А по россыпи волн на воле Водыльник[264]. И лишь одна его голова — куча сенная, торчит над водою: ничем не заманишь чумазого в темень на остудное[265] дно, довольно зимой наклевался ершей, и плывет, охмелел.

Суховерхое дерево греется. Веселеет еловая роща.

Оживают дыбучие мхи.

Вот облако к облаку, — пушистые облачки сходятся.

Пугливо за облако теряется солнце.

И уж движется туча хмуро и грузно: заждалась свистучая, шатает подоблачье.

Горностаи тягу дал под малиновый прутик.

Черкнула ласточка.

Да как затора?ндит да как загрохочет — с грохотом — громом катит гремющий Громовник: с уклада складено сердце, с железа скованы груди. Тороком-вихрем[266] режет Громовник небесные снега.

Подымает тугой лук. Нацелил. Спускает стрелу —

крес — —![267]

И всполохнулся от искры небесный свод, весело, весело горит. И земля под топот толкучего грома, просверленная меткой стрелой, горит.

Пробудились, встают клевучие змеи, встает все зверье и все птицы и приветливые и догадливые, хищные, жалобные, горе-горькие, скоролетные, златокрылые, говорящие, косатые — сокол, орел, соловей, и гусь заблудущий, и сорока поскокунья, и ворона полетучая, и загнанный заяц.

И до самого вечера, пока туча держалась и всю громыхал бесстрашный Громовник, звон-унылая песня зверья разливалась с края по край — с берегов небывалых до берегов, где бездорожье живет.

И до капельки вылилась туча, высеяв землю.

Любуясь, по синим дорогам уплыло солнце, а за солнцем теплая ночь поднялась над теплой землей.

На прибойном сыром берегу вещая Мокуша[268], охраняя молнийный огонь, щелкала всю ночь веретеном, пряла горящую нить из священных огней. Кузнецы стояли в кузницах, разжигали булат-железо, ковали железные обручи на любое сердце. И водные Бродницы[269], плавая тихо, волновали синие воды и, чаруя глубокие недра, призывали навов из темных могил.

— Проснитесь и пойте! Проснитесь! Наступило всему воскресенье! Начинайте весеннюю пляску!

В земле копошилось, раскатывались камни, рассыпались пески, расступалась земля.

А там — ненаглядные звезды. И до зари, как всходить ей на небо, звезды, играя, свивали тоску, ненаглядные.

Нежит[270]

Вот пришел ярец-май[271] с ясными днями, поднял и слил яроводье[272]. Лили дожди и пролились. Канули сиверы — ветры.

С теплым ветром из-за теплого моря комары прилетели.

И текут безумно гульливые реки.

Гуляй, поколь воля!

Выгнана вербою в поле скотина. Засеяна черная пашня. В поле и в лесе ночью и днем заливаются — свищут певчие птицы: перелетные, не обошли они, не забыли наши края.

Русь — сторона родимая. Жить — она веселая.

Падают белой зарею большие Егорьевы росы.

Рано солнце играет.

Соловьинные дни.

Гуляй, поколь воля!

Все оживает, все пробудилось. Прогремел первый гром, и земля очнулась.

Выглянули горные

мавки [273] с красных гор и высоких буюнов[274] — стало невмочь им в их зимних вершинных могилах.

Тихо веют горные ветры. Парит на солнце.

Встала

чужа -змея, вывивается: чует снесь.

Вылез из-под коневой головы и сам неприкаянный Нежит, ей встречу идет.

Гуляй, поколь воля!

Торна, бойка дорога.

Вот обогнул Нежит старую ель и бредет — колыбаются сивые космы. Подвигается тихо, толчет грязи по мху и болоту, хлебнул болотной водицы, поле идет, другое идет, неприкаянный Нежит, без души, без обличья.

То он переступит медведем, то утишится тише тихой скотины, то перекинется в куст, то огнем прожигает, то как старик сухоногий — берегись, исказнит! — то разудалым мальцом и уж опять, как доска, вон он — пугало пугалом.

Доли не чаять и не терять — Нежитова доля.

Далее день. Вечереет.

В теплых гнездах ладят укладываться на ночь.

Ночь обымает.

Ночь загорелась.

Затянули на буйвищах[275] устяжные песни.

Веет с жальников[276] медом и сыченой брагой.

Легкая лодка скользнула в раakitник. Раздвинула куст Волосатка[277], пустилась Домовиха по полю ко двору к Домовому.

Гуляй, поколь воля!

В ночнине кони в поле кочуют, зоблюют.

Сел Нежит в мягкую траву, закатил болотные пялки, загукал[278] Весну.

А на позов из бора отукает Див.

Гуляй, поколь воля!

Подливает вода — колыхливая речка, подплывает к самым воротам.

Разъярилась песня.

А там за рекою старики стали в круг, изогнулись, трогают землю, гадают: пусть провещает Судина!

И волшанские жеребья[279] кинуты.

Слышит ярое сердце, чует судьбу, похолодело...

Резвый жеребий[280] выпал — злая доля выпала ярому сердцу.

Яром туманы идут. Поникает поток. Петуха не добудишься.

Дуб развертывает свежие листья.

И мать-земля родит буйную зель[281].

Гуляй, поколь воля!

Коловертыш[282]

Широкая, уныло день и ночь течет Булат-река, тиноватая, в крутых обсыпчатых берегах с пугливую рыбу.

Умылись наши путники в речке, переехали речку Соловьиным перевозом и вошли в густой лес. И всю ночь до зари пробирались они лесом по темным, тайным дорогам. Всю ночь вела их дорога то сквозь тущобы, то пропастями.

И трижды далеко петухи пропели — трижды клевуны пропели.

Взошла заря.

А на заре, в подсвете, в восходе солнца девять кудрявых дубов остановили их путь.

У девяти дубов, между двенадцатью корнями стоит избушка на

курьей ножке.

Тихо обошли они дубы вокруг избушки, робко заглянули в три окна. Но тихо: не повернулась к ним избушка, ее не повернула куриная нога. И в окнах ни души, не слышно крика, ни шума, ни суетни, — знать, покинула ведьма избушку!

На крыше сидела серая сова — чертова птица, а у курьей ноги, у дверей, пригорюнься, сидел Коловертыш: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом.

— Лейла, какой печальный Коловертыш!

— Слепой, как птица сова?

— Сова не сова, а глазастый и зоркий: днем и ночью разбирает дорогу.

— А это что у него за мешок?

— Это зоб, туда он все собирает, что ведьма достанет: масло, сливки — и молоко, всю добычу. Наберет полон зоб и тащит за ведьмой, а дома все вынет из зоба, как из мешка, ведьма и ест: масло, сливки и молоко.

— Вот чудеса: Коловертыш!

— Да, Коловертыш.

Они поднялись по ступенчатой лестнице к двери, чуть приотворили дверь — на мышиный глазок, но Коловертыш остановил их.

— Нет ведьмы, — сказал Коловертыш, — нет хозяйки: парившись в печке, задохнулась Марина уж тридцать три года.

— Эко несчастье!

— Бедняжка! Неужто задохнулась в печке?

— Тридцать три года! — взгрустнул Коловертыш.

— А ты сам Коловертыш?

— Я сам Коловертыш, а бывало-то...

— Что, что бывало?

— А бывало-то, месяц стареет и ведьма стареет, месяц молодеет и ведьма молодеет, вчера она старая кваша — и не посмотришь, а завтра посмотрит и сделает пьяным. А горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вепрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея. Разрывала Марина оковы, что твою нитку, захочет — змея уймет, его ярое жало, а захочет — суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы. Вот была она какая!

— Марина-ведьма! — подхватила Лейла.

— Марина-ведьма, уж тридцать три года...

И, вспомнив Марину-ведьму, свою хозяйку, о себе рассказал Коловертыш, как ему скучно, — закрылись все радости, встретились напасти! — и не знает он, что ему делать, — ничего не видит от несносной печали! — и куда ему деться, оголодал он! — без Марины-ведьмы, без своей хозяйки.

— А как тебя сделала ведьма? — допытывалась Лейла.

— Из собаки сделала, мудрено меня сделала ведьма: оценилась наша собака Шумка — Шумку волки съели! — взяла ведьма

место — там, где щенята у Шумки лежали, пошептала, перетасила в избу в задний угол под печку, а через семь дней я на белый свет и вышел. Я — Коловертыш, вроде собачьего сына... Съешьте меня, Бога ради, мне скучно!

— Что ты... мы вовсе не серые волки! Да полно, чего горевать, ну, чего? Ты и другую найдешь, ну, не Марину, ты другую найдешь... Шумку! — растрогалась Лейла, хотела утешить беднягу, который вроде собачьего сына.

Коловертыш был неутешен: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом, — бултыхал Коловертыш пустым, вялым зобом.

— Кого нет, того негде взять... Съешьте меня, Бога ради, мне скучно! — не унимался бедняга, капали крупные слезы из собачьего, верного глаза.

Лейла туркнулась в дверь. И они попали в избушку.

У самых дверей — ступа, из ступы, как заячье ухо, торчал залежанный войлок: видно, в ступе свил себе прочно ночное гнездо Коловертыш, и рядом со ступой помело длинное, под потолок, и кочерга, а по углам пустая посуда, — в пустую посуду Коловертыш выкладывал когда-то из своего зоба добычу: масло, сливки и молоко, — а на стене, в красном углу болтался замызганный, лысый воловий хвост и ожерельем висели вокруг сушеные змеи, кузнечики, песьи кости, ящерицы, акулье перо и рога оленьи, а на треногом столе — корки,

крошки и черепки, а у печки — громовый камень, угли, кремень, кресало, горшок золы: — знать, у печки распорядилась сова. И везде паутина — по щелям, по потолку, по углам.

Вот где жила ведьма Марина: старела, как месяц стареет и молодела, как молодец старый месяц, а горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вебрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея, захочет — змея уймет, его ярое жало, а захочет — суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы.

— Съешьте меня, Бога ради, мне скучно! — тянул свое Коловертыш, кряхтел за дверью, у курьей ноги.

Вот где живет Коловертыш, ничем неутешен и никогда — ни днем под солнцем, ни ночью под месяцем, ни ранними росами, ни вечерней зарей, без Марины-ведьмы, без своей хозяйки, верный ведьмин помощник — Коловертыш, который вроде собачьего сына.

Постояли они в избушке, поглядели, подумали, — и за порог. И у девяти кудрявых дубов опять постояли, поглядели, подумали да, напившись ключевой воды у обожженного молнией среднего мокрецкого дуба, дальше — в недалний, неближний трудный путь по тернистой, унылой тропинке за широкую Булат-реку искать море, Море-Океан.

— Прощайте! Прощай, Коловертыш!

Коловертыш не тронулся с места, и лишь сова вспорхнула на оклик...

— А ведьмины кости, косточки, костки черный ворон в поле унес, Ворон Воронович, уж тридцать три года, а собаку Шумку... Шумку волки съели, уж тридцать три года! — кричала вдогонку сова — чертова птица, серая, кричала с задавленным хохотом.

Ховала[283]

Наволокло, — небо нахмурилось.

Подымалась гроза, становилась из краю в край, закипала облаком...

Поднялись ветреницы, полетели с гор, нагнали ветер и вихрь.

Ветры воют.

И гремучая туча угрюмо стороною прошла.

Не припустило дождем.

И осталась земля-хлебородница не умытая, не напоена.

Не переможешь жары, некуда спрятаться.

И ходило солнце по залесью, сушило в саду шумливую яблонь, а в поле цветы, и жаркое село.

Угревный день сменился душной ночью.

По топучим болотам зажглись светляки, а на небе звезда красная — одна — вечерняя звезда.

Поднялся Ховала из теплой риги, поднял тяжелые веки и, ныряя в тяжелых склоненных колосьях, засветил свои двенадцать каменных глаз, и полыхал.

И полыхал Ховала, раскаляя душное небо.

Казалось, там — пожар, там разломится небо на части, и покончится белый свет.

Пустить бы голос через темный лес! — Не слышат, да и нет такого голоса.

И куда-то скрылся Индрик-зверь. Индрик-зверь — мать зверям — землю забыл. А когда-то любил свою землю: когда в засуху мерли от жажды, копал Индрик рогом коляную землю, и выкопал ключи, достал воды, пустил воду по рекам, по озерам.

Или пришло время последнее: хочет

зверь повернуться?

И куда-то улетела Страфиль-птица. Страфиль-птица — мать птицам — свет забыла. А когда-то любила свой свет: когда нашла грозная сила, и мир содрогнулся, Страфиль-птица победила силу, схоронила свет свой под правое крыло.

Или пришло время последнее: хочет

птица встрепенуться?

И куда-то нырнул Кит-рыба. Кит-рыба — мать рыбам — покинул землю. А когда-то любил свою землю: когда строили землю, лег Кит в ее основу и с тех пор держит все на своих плечах.

Или пришло время последнее: хочет

рыба сворохнуть?

Грозят страшные очи, ныряет Ховала. С пути его не воротишь...

И омлела на небе звезда вечерняя.

Мара-Марена[284]

Охватила заря край земли — вечереется день — вечерняя тихо заря поблекает.

Смородина-речка дремлет. Голубые, огретые солнцем, отлились ее вешние воды.

Прошли к берегу по воду девки: зноятся лица, поизмята шитая рубаха, примучились плечи.

Не за горами горячей поре. Уж довольно морозу пугать с перезимья! — полегли все морозы, заснули в стрекучей крапиве.

Пойдут хороводы. Заиграют песни.

Полетят за густым белым облаком сквозь зарю, с вечерней зари до белого дня, купальские песни.

По край болота жили лягушки, — квакчут.

И тихо рассыпались звезды, ну — свечи, повитые золотом нелитым, нетянутым.

Идет по луговьям, по ниве Мара-Марена, кукует тихо и грустно, кукует, изнемают тоскою дорогу.

Шумят на шатучей осине листья без ветра.

Клокочет кипуч-ключ горячий.

Идет Мара-Марена, не топчет травы, не ломает цветов. С половины пути она оглянулась, — загляделись печальные очи, — далеко звездой просветила.

Зеленеют луговья, наливаются колосом нива.

Боровая ягода зреет.

Бряк под окошком!

Там кто-то клянёт и клянётся. Зачем там клянётся Землею и Солнцем! Положи ни во что эту знойную клятву. Не будет от клятвы корысти.

Взглянет Мара-Марена, просветит — скрасит весь свет и погубит.

Все пойдет по ее.

Все погибнет.

Мара-Марена — в одной руке серп, в другой зеленый венок. Она сердце иссушит, подкосит вековое, разорвет неразрывное, вздует ветры, засыпет сыпучим снегом теплое солнце, размахает крепкие дубы.

И затмится на радости день.

И не уведаёт милый о милой, забудут: я ли тебя, ты ли меня...

Идет Мара-Марена, замутила Смородину-речку, открывает кувшинки и дальше идет, восходит на горы — горы толкнутся — и дальше долиной, по большому полю.

И взмывала вослед ей непогожая туча с большим дождем, непроносная.

Камнем шибается к звездам птица Могуль[285], и счастье-перо, кипя смолою, падает счастливому.

Стой! Не приунять, не укротить безповинного сердца, бьет через край.

Там волк, зачуяв смерть свою, завыл.

И смыкается небо с землею.

Марун[286]

Заморилась

ильинская муха, заросла путь-дорога. Озимое поле вспахали, счастливо засеяли.

Не оттянуться осенней поре. Падает желтый осенний лист.

Вихорь, прогнав полевые ветры, стал на полете.

И мглистое утро окуталось тихим дождем.

Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

Или уж с моря вышли белоснежные ветровы сестры — Буря, Вьюга, Метель, и идут к нам сестры быстрой рекою, через озера, через гремучий ключ, по белому камню, по черным корням, по мхам и болотам, несут стужу с ненастьем и по пути поднимают погоду и раздувают желтые листья.

— А где, Алалей, живут сестры?

— На море, где-то там, у Студеного моря. А давай у оленя спросим!

Олень — вихорь-Олень стоял у сосны: увядала сосна, разломанная молнией в щепы.

— Оленюшка, — попросила Лейла, — расскажи нам о ветровых сестрах, о Буре, Вьюге, Метели!

Знал Олень про сестер, и рассказал по-оленьи о сестрином море, и как зовут остров, и о царе Маруне.

Далеко на море — не на Студеном, на Варяжском — есть острова Оланда — скалистый остров Бурь-бурун. Четыре рыбы держат остров: две одноглазые Флюндры и две крылатые Симпы. Царь Бурь-буруна, властитель Оланда — Марун. Трон его крепкий из алого мха, царский венец из лунного ягеля, меч и щит из гранита. Сидит царь Марун на острой скале высоко над морем, слушает волны. А вокруг него — змеи, над ним — альбатросы, и по морю мимо проплывают печальные белые бриги и шкуны. А он неподвижен на своем алом троне, лунный, как мох-ягель, пасть раскрыта — он слушает волны. Никто не взойдет на скалы, никто не ступит на берег, никто не обойдет весь остров, и только бесстрашный, вызывающий смерть, викинг Сталло[287], закованный в сталь, бросает бесстрашно якорь. А царь Бурь-буруна, властитель Оланда — Марун не видит ни печального белого брига, ни альбатросов, ни змей, ни викинга Сталло, слепой, он слушает волны. Далеко на море — не на Студеном, на Варяжском — есть острова Оланда — скалистый остров Бурь-бурун. Там и проводят летние дни белоснежные ветровы сестры Буря, Вьюга, Метель.

— Сестры уж вышли, плывут, веют ненастьем, — провещал вихорь-Олень.

— Я непременно хочу увидеть Маруна!

— Увидим, увидим, Лейла.

— И альбатроса, и бесстрашного викинга Сталло!

— Увидим, увидим, Лейла.

Куталось мглистое утро тихим дождем. Падали желтые листья.

Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

Рожаница[288]

Укатилось солнце за горы. Зажглись на облаках звезды — ясные и тусклые по числу людей, рожденных от века.

А от Косарей по Становищу[289] души усопших — из звезд светлее светлых, охраняя пути солнца, повели Денницу к восходу.

И сама Обида-Недоля, не смыкая слезящихся глаз, усталая, день исходив от дома к дому, грохнулась на землю и под терновым кустом спит.

Родимая звезда, блеснув, украсила ночное небо.

«Мать Пресвятая, позволь положить тебе требу, вот хлебы и сыры и мед, — не за себя, мы просим за нашу Русскую землю.

Мать Пресвятая, принеси в колыбель ребятам хорошие сны, — они с колыбели хиреют, кожа да кости, галчата, и кому они нужны, уродцы? А ты постели им дорогу золотыми камнями, сделай так, чтобы век была с ними да не с кудластой рваной Обидой, а с красавицей Долей, измени наш жалкий удел в счастливый, нареки наново участь бесталанной Руси.

Посмотри, вон растерзанный лежень лежит, — это наша бездольная, наша убогая Русь, ее повзыскала Судина, добралась до голов: там, отчаявшись, на разбой идут, там много граблено, там хочешь жить, как тебе любо, а сам лезешь в петлю.

Или благословение твое нас миновало, или родились мы в бедную ночь и век останемся бедняками, так ли нам на роду написано: быть несуразными, дурнями — у моря быть и воды не найти?

Огонь охватил нашу жатву, пылают нивы, на море бурей разбило корабль, разорены до последней нитки.

Смилуйся, Мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идет по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни[290] — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: «Мы от тебя не отстанем!»

Вещая, лебедь, плещущая крыльями у синего моря, мать земли — мать земля! Ты читаешь волховную книгу, попроси творца мира, сидящего на облаках Солнце-Всеведа, он мечет семена на землю, и земля зачинает, и мир весь родится, — попроси за нас, за нашу Русскую землю, чтобы Русь не погибла!

Нет нам места и не знаем, куда деваться от Кручины и Лиха!

И если б нашелся из нас хоть один, кто бы ударил ее топором, или спустил в яму и закрыл камнем, или бросил в реку, или, защебив в дерево, забил в дупло, или запрятал бы ее под мельничный жернов, худую, жалкую, черную долю — нашу злую судьбу!

Мы отупели — и горды, мы не разрешили загадок — и покойны, все письма для нас темны — и мы возносим свою слепоту... мать, повели им, всем праздным, всем забывшим тебя, забывшим родину, твою землю и долг перед нею, и пусть они потом и кровью удобряют худородную, истощенную, заброшенную ниву...

И неужели Русской земле ты судила Недолю, — и, всегда растрепанная, несуразная, с диким хохотом, самодовольная, униженная и нищая, будет она пресмыкаться, не скажет путного слова?

Мудрая, вещая, знающая судьбы, равно распределяющая свои уделы, подай нам счастье! Не страшна нам смерть, — мы клянемся тебе до последних минут жизни отдать все наши силы и умереть, как ты захочешь, — нам страшно твое проклятие.

И посмотри, вон там молодая, прекрасная Лада, Счастливая Доля, в свете зари словно говорящая солнцу: «Не выходи, солнце, я уже вышла!» — она нам бросает свою золотую нить.

Мать Пресвятая, возьми эти хлебы и сыры и мед с наших полей и свяжи нашу нить с нитью Доли, скуй ее с нашей, свари ее с нашей нераздельно в одной брачной доле на век!»

Боли-бошка

Тихо идут по последней тропинке...

Затор[291] за нежданным затором встает в заповедном лесу.

В темную ночь им зорит[292] зарница. А далеко за осеком[293] зреют хлеба.

Держатся крепко — рука с рукою. Кто-то немножко боится.

Страшно, глухо, заказано место, зарочна тропинка.

Трудно, пройдя через степь, через поле, через реку и речку, через болото, трудно выйти из темного леса.

Ватажится лешая свора: не хочет пускать, — так не отпустит!

А ягод, грибов — обору нет. Полон кузов несут.

Лесовик их не тронет. Лесовик приятель Водяному и Полевому. Водяной с Полевым им, как свои, — Лесовик их пропустит.

— Лесовик, Лесовик, на? тебе ягод: ты — с леса, мы — в лес!

А завтра, когда забрезжит и, алея, дикая роза — друг-поводырь — пойдет, осыпаясь, прощаться, ранним-рано расколыхнется заветное Море — Море-Океан!

Тихо идут по последней тропинке...

Валежник и листья хрустят.

Тише! Вон и сам Боли-бошка! — Почуял, подходит: набедит, рожон!

Весь измоделый[294], карла, квелый, как палый лист, птичья губа — Боли-бошка, — востренький носик, сам рукастый, а глаза будто печальные, хитрые-хитрые.

Была не была, — чур, не поддаваться! Заведет этот Лешка в зыбель-болото[295], где сам черт ощупью ходит. И позабыть им про Море.

— Не видали ли, где я сумку потерял? — кличет Боли-бошка.

— Нет, не видали.

— Поищите! — просится Лешка, а сам дожидает.

— Что ты! — шепчет Апалей вострепенувшейся Лейле, — не знаешь его? Не нагибай так головку: у этого Лешки отродясь никакой и не было сумки. Это нарочно. Вот ты нагнешься, искавши, а он тут как тут, да на шею к тебе, да петлей и стянет. И позабыть нам про Море.

Тесна, узка тропинка. Путает папоротник. Вспыхивает

свети -цвет[296] — волшебный купальский цветок.

— Хочешь, Боли-бошка, ватрушку? — зовет желанная Лейла.

— Поищите, милые! — тянет свое Боли-бошка: то пропадает, то станет, ничем его не прогнать, ничем не расшухать.

Тихо идут по последней тропинке...

Затор за неожиданным затором встает в заповедном лесу.

В темную ночь им зорит зарница. А далеко за осеком зреют хлеба.

Держатся крепко — рука с рукою. Кто-то немножко боится.

— А Море, — бьется сердце у Лейлы, — а Океан не замерзает?..

— Нет, моя Лейла, оно никогда не замерзнет, не проволнует волна: море и лето и зиму шумит. Непокорное — песком его не засыплешь, не перегородишь. Необъятное — глубину не изведешь и слезой не наполнишь. Море бездонно, бескрайно — обкинуло землю. А разыграется дикое — топит. А какие на Море водятся рыбы! Какие по Морю летают белогрудые птицы! И берегов не видать. А корабли один за другим уплывают неизвестно куда...

— И мы поплывем?

— И мы поплывем. Морского царя увидим, крылатого Змея увидим...

— А ежик, про которого дедушка сказывал, он нас не съест? — и глаза-ненаглядны синют, что море.

Скоро-скоро забрезжит. И пойдет, осыпаясь, прощаться дикая роза — друг-поводырь.

Легкий ветер уж веет. Там Моряна[297] волны колышет.

И, ровно колокол бьет, Море — непокорное, необъятное Море-Океан.

* * *

Завитушка[298]

Случилось однажды, как идти Коту Котофею освобождать свою беленькую Зайку из лап Лихи-Одноглазого, занесла Котофея ветром нелегкая в один из старых северных русских городов, где все уж по-русскому: и речь русская старого уклада, и собор златоверхий белокаменный и тротуары деревянные, и, хоть ты тресни, толку нигде никакого не добьешься. Котофей не растерялся, — с Синдбадом самим когда-то моря переплывал, и не такое видел! Надо было Коту себе комнату нанять, вот он и пошел по городу. Ходит по городу, смотрит. И видит, домишко стоит плохонький, трухлявый, — всякую минуту пожар произойти может, — а в окне билетик наклеен: сдается комната. Котофею на-руку: постучал. Вышла женщина, с виду так себе: и молодое в лице что-то, и старческое, — морщины старушечьи жгутиком перетягивают еще не квелую кожу, а глаза не то от роду такие запалые, не то от слез.

— У вас, — спрашивает Котофей, — сдается комната?

— Да я уж и не знаю, — отвечает женщина.

— У кого же мне тут справиться?

— Я уж и не знаю, — мнетя женщина.

— Хозяйка-то дома?

— Да мы сами хозяйка.

— Так чего же вы?

— Да мы дикие.

Долго уговаривался Кот с хозяйкой, и всякий раз, когда дело доходило до какого-нибудь окончательного решения, повторялось одно и то же:

— «Да мы дикие».

В конце концов занял Котофей комнату.

Ребятишек в доме полно, ребятишки в школу бегали, драные такие ребятишки, вихрастые.

Теснота, грязь, клопы, тараканы, — не то, чтобы гнезда тараканьи, а так сплошь рассадник ихний.

«И как это люди еще живут и душа в них держится?» — раздумывал про себя Кот, почесываясь.

Хозяина в доме не оказалось: хозяин пропал. И сколько Котофей ни расспрашивал хозяйку, ответ был один:

— Хозяин пропал.

— Да куда? Где?

— Пропал.

Рассчитывал Кот одну ночь прожить, — уж как-нибудь протараканить время, да пришлось зазимовать.

Выпали белые снега глубокие. Завалило снегом окно. Свету не видать, — темь. Тяжкие морозы трещат за окном. Ни развеять, ни разместить, глубокие сугробы.

Вот засветил Котофей свою лампочку, присядет к столу, сети плетет. — Кот зимой все сети плел. А чтобы работа спорилась, примется песни курлыкать, покурлычет и перестанет.

— Марья Тихоновна, вы бы сказку сказали! — посмотрит Котофей из-под очков на хозяйку глазом.

Хозяйка как вошла в комнату, как встала у теплой печки, так и стоит молчком: некому разогнать тоску, — ей тоже не весело.

Кот и раз позовет, и в другой позовет и только на третий раз начинается сказка. И уж такие сказки, — не переслушаешь.

Клоп тебя кусает, блоха точит, шелестят по стене тараканы, — ничего ты не чувствуешь, ничего ты не слышишь: ты летишь на ковре-самолете под самым облаком, за живую и мертвую водой.

Это ли ветер с Моря-Океана поднялся, ветер ударил, подхватил, понес голос далеко по всей Руси? Это ли в большой колокол ударили, — и пасхальный звон, перекатываясь, разбежался по всей Руси? Прошел звон в сырую землю. Воспламенилось сердце. И тоска приотхлынула. Земля! — земля твоя вещая мать голубица. А там стелятся зеленые ветви, на ветвях мак-цветы. А там по полям через леса едет на белом коне Светло-Храбрый Егорий. Вот тебе живая вода и мертвая. И не Марья Тихоновна, Василиса Премудрая, царевна, глядит на Кота.

Так сказка за сказкой. И ночь пройдет.

За зиму Котофей ни одной сети толком не сплел, все за сказками перепутал и узлов насадил, где не надо. Охотник был до сказок Котофей, сам большой сказочник.

А пришла весна, встретил Котофей с хозяйкой Пасху, разговелся, и понесло Котофея в другие страны, не арабские, не турецкие, а совсем в другие — заморские.

Скриплик

Я не знаю, слышали ли вы или кто из вас видел — идете вы лугом, вьются-рекозят стрекозы, вы наклонились — тише! в стрекозьем круге на тоненьких ножках, сухой, как сушка, сам согнулся, в лапочках скрипка.

Или на теплой весенней заре, когда жундят жуки, идете на жунд — в жуковом вьюне мордочку видите? Тшь! — скрипочка пилит жуком и в такт хохолят два хохолка.

И в лесу посмотрите, откуда? — пичужки чувырчут — лист не шелести! — в листьях меж

птичек со своей скрипкой, узнали? — да это скриплик.

Все его знают — и звери и птицы, всякий жук зовет:

— СКРИПЛИК —

Учит скриплик на скрипке пению птиц, стрекоз рекози, ремезов ремези, жуков жунду, кузнечиков стрекоту, а зайчат мяуку, а лисяток лаю, а волчат вою, а Медведев рыку.

В лугах всякая травка ему шелковит, в лесу светит светляк.

Хорошо по весне, когда птицам слетаться в старые гнезда — идет мордочкой к солнцу со своей со скрипкой, не забудет, обойдет он все гнезда, кочки, норы, норки, берлоги: скоро пойдут у зверья и птиц дети, надо учить.

Я не знаю, слышали ли вы, кто из вас видел, — учатся звери и птицы и всякий мур и стрекоза, как учится и человек.

Чур

От березы к трем дубам долом через бор

к грановитой сосне —

на меже

чурка старая лежит,

в чурке — чур:

мордастенький, кудластенький

носок — сморчок,

а в волосе, что рог,

торчит чертополох.

Эй ты, чур-чурачок-чурбачок,

— Чур меня, чур!

Нужен чуру глаз да глаз, не проморгай:

что ни час, то беда; ни година — напасть

неминуемая.

Вор —

вырвет чурку вор! — Чур зачурился да хватать...

— Чур меня, чур!

А руки сведены и сохнут, как ковыль:

забудешь воровать.

На чурке чур заводит зоркий глаз.

Сердечный друг, постой, не задремли...

Коса —

Звенит коса, поет и машет, машет так —

лязг-лязг по чурбану! — Чур на дыбы да за косу...

— Чур меня, чур!

И вострая изломана, коса моя, коса,

Не размахивайся скоса.

На чураке свернулся чур, хоть чуточку всхрапнуть —

от зорь до зорь

и за лазореву звезду

на стороже стоять

да спуску не давать:

без пальца рука,

без мизинца нога

с башкой голова.

Эй ты, чур-чурачок-чурбачок,

— Чур меня, чур!

Клад присумнится, не рой,

чура зови — знает зарок...

Вон ворон —

«крук» — крадется Корочун — кар-кар...

— Чур меня, чур!

Чур: чрр! — и «крук» за круг: крр-крр...

Спасибо, чур — чтоб лопнул Корочун:

ни дна ему и ни покрышки.

Ве?щица[299]

1

В Гадояде[300], в стране стеклянной[301], царствовал некогда могучий царь по имени Геген с царицею Марогой[302]. Родила ему царица Марога шестерых сынов и таких красавцев — загляденье.

Славно царство Гегеново, не сосчитать богатств, золотой казны и скота и тучных нив.

Привольны поля — не окинет глаз.

Там пахали железной сохой до самого моря, высота борозды — целая сажень. А лес что в небе дыра, нет деревца кривого в лесу. Завернулись золотые бережки по рекам и по светлым озерам.

Дивности исполнена стеклянная Гегенова страна. И было все поживу, подобра да поздорову: ели, пили, кручины над собой не ведали.

И вот в некое время, как снег на голову, нашло на царство страшное войско комариное, ввалилось войско в Гадояд, пошло потоптом: хочет, голодное, крови пососать.

Скликнул царь Геген своих бояр и дружину и всяких людей, ударил всей стеклянною силой и одолел войско комариное. Старого комара, комариного начальника, царя их, в темницу посадил заключенную, в глубокую яму.

И взмолился из темницы старый комар, говорит царю:

— Дай мне твоей крови пососать! Запечется тело твое, что еловая кора, погибнешь сам, и все твое царство погибнет. Дай мне твоей крови пососать!

Слыша такие слова и угрозы, разгневался царь, шлет палачей, велит казнить комара немилостиво.

И день казнят и другой казнят, — выломали руки, выломали ноги, порют грудь по живот, три дня казнят, не могут извести комара. На третьей вечерней заре извели комара, — погиб комар. На третьей вечерней заре из-за холодных гор показалась Ве?щица:

— Эй, Геген, ты выведи детей своих к холодным горам, зарежь детей, нацеди горячей крови их, помажь голову старому комару, эй, царь Геген!

Посмеялся царь словам Ве?щицы, устроил пир и пировал всю ночь.

А наутро не стало царских детей — шестерых сынов.

Схватился наутро царь, посылает в погоню гонцов. И вернулись гонцы, не вернули царских

СЫНОВ.

2

Всякий день — на молоду и под полн, на перекрое и на исходе месяца[303] показывалась Ве?щица из-за холодных гор.

И горе тому, на кого упал ее глаз.

Она смыкала уздою уста, высасывала душу и оставляла одни глаза на немилый свет, на постылую землю.

И горе тому, кто отзывался на ее оклик.

Она входила, ложилась в сердце и щемила сердце неведомой тоской, недознаемой грустью, недосказанной кручиной, и тот кручинный с утра и до вечера кидма кидался из дверей в дверь, из ворот в ворота, из села до села — на погост в могилу.

И горе тому, кто в напущенном сне любился с нею.

Она бросалась в голову, в тыл, в лик, в очи, в уста, в сердце, в ум, в волю, в хотенье, во все тело и кровь, во все кости и жилы. И думать тому не задумать, спать не заспать, есть не заесть, пить не запить. Тот нигде пробыть уж не мог и мыкался всю свою жизнь, ровно червь в ореховом свище.

Стало все с толку сбиваться, настало лихолетье, задряхлело царство Гегеново, расплзался Гадояд.

В коробах да амбарах завелись мертвые мыши[304], не рожалось младенцев, — подкатывала рожаницам порча под сердце и лежала там, как пирог.

Призывал царь колдунов.

Страшные колдуны водились в стеклянной стране, в Гадояде.

Знали колдуны порчи временные и вечные: временные, которые отговариваются заговором, и вечные, которые остаются до конца жизни. Знали колдуны, как занимать чертей. Они посылали чертей вить веревки из воды и песку, перегонять тучи из одной земли в другую, срывать горы, засыпать моря, дразнить слонов, которые поддерживают землю. И, зная много чар и заклятий, на такое не могли пойти — не могли колдуны осилить Ве?щицы, — вернуть царских сынов.

Ходил царь по указу колдунов пешком в Окаменелое царство ко Скат-горе, ел там царь пену с заклятых гробов, силы набирался богатырской[305], да только попусту.

Всякой ночью — на молоду и под полн, на перекрое и на исходе месяца укладывала Ве?щица тело свое под ступу и летала бесхвостой сорокой, спускалась в трубы, похищала детей из утробы, а на их место оставляла головню либо голик или краюшку.

Разведет огонек на шестке, там дите и сожрет.

И, до зари налетавшись бесхвостой сорокой, на заре надевала Ве?щица тело и за зарю до белого дня плескалась в море, пела свои вещие песни.

Кто Ве?щицу слышал, навеки становился негодным.

Сидел царь с царицею в золотом Гадоядском дворце на двойных запорах, за крепкими стенами да глубоким, острыми торчами утыканным, рвом. Ночи не спали — не со?билось [306] — горькую думу думали. Они тужили о потерянных сынах своих да молили Богу, чтоб дал им Господь еще дите последнее — наследника всему царству стеклянному.

И услышал Господь молитву царскую, исполнил царскую просьбу: в одну из ночей понесла царица Марога.

Не успел царь от радости опомниться, не успел пир отпраздновать, не допил турий рог сладкого вина, как из-за холодных гор показалась Ве?щица.

— Эй, царь Геген, ты выведи живьем к холодным горам царицу твою, эй, царь Геген!

Помертвел царь Геген, невмочь опомниться.

А над дворцом, напырщив перья, красный Птичищ каркал черным граем.

Собрались тут бояре, дружина и всяких людей многое множество. И решили бояре, дружина и люди поналечь всею силой, а не дать в обиду страну — поправиться с Ве?щицей.

И в одну ночь построена была среди поля башня из мрамора. Оковали ее гвоздием железным, залили оловом. Ни снаружи, ни изнутри невозможно проникнуть в башню.

В мраморной башне затворилась царица одна с своей старою нянькой. Старуха ходила за печками, закрывала печки с молитвой и плотно, чтобы, как ненароком, не залетел в трубу нечистый дух злой Ве?щицы.

И все шло хорошо, лучше и не надо в страшное лихолетье.

Когда пришло время Мароге, и родила Марога царевича, Сисиний, родной брат Мароги, великий воин, побивший много побоищ, победитель Пора, царя индейского[307], возвращаясь в Гадояд, вздумал навестить сестру.

Ночью подъехал Сисиний к мраморной башне и просит пустить его.

Не хотела Марога пускать брата, боялась, не стряслось бы беды, но Сисиний повторял свою просьбу и молил царицу.

Бурная ночь была, всколыбалась сильная вода, сек дождь до кости, просвистывал ветер все уши, и молния, бреча, клевала землю[308].

И, когда отворились двери башни, поднялась из бури Ве?щица, вошла в горло коню, проникла с конем в башню, и в полночь похитила сына Мароги, — с царским сыном умчалась за холодные горы.

И не стало царевича.

Растужилась, раскручинилась царица Марога, плакала Марога, жаловалась на брата Сисиния. Крепкою тугой печалью ущемленное сердце проклинали. И сотряслась башня от вопля и проклятия.

А над башней, напырщив перья, красный Птичищ каркал черным граем.

5

Ужаснулись царь Геген и воин Сисиний.

Сев на коней своих, погнали они через пропасти за холодные горы.

Вот они гонят три зари без устали, — взмылены кони, не напоены. На третьей заре напал на Сисиния глубокий сон. И едут они врознь: Геген впереди, Сисиний за царем в глубоком сне.

Шагом проехали много длинных верст, стало уж солнце за лес заходить, стала туманами ночь заволакивать пустынный путь, и взбесился вдруг конь под царем, бьет копытом, дрожит, нейдет, и чем дальше, тем бешенее.

И видит царь сквозь туманы старую старуху на болоте, бултыхается старуха, молит о спасении.

Ударил Геген коня, направил прямо на болото, хватить старуху — и вытащил.

А старуха и говорит:

— Я не старуха, я смерть, прощайся с кем хочешь.

И стал Геген просить и молить Смерть пощадить его.

— Было у меня царство и обилье всего, жил я, не тужил, все прахом пошло. Было у меня шесть сыновей, и в одну ночь погибли все, народился последний сын — царству моему стеклянному наследник, не стало царевича...

Не приняла Смерть моления пустынного, ничего царю не ответила.

Слез царь с коня, стал перед конем на колени. И конь на колени стал. Хотел царь с конем проститься.

Тут надоело Смерти ждать, скосила она голову царю и, взыв, пьяная от крови, пошла по болоту в поле-полянну, к шелому окатному[309], в свои костяные чертоги.

Проснулся Сисиний, кличет царя. А царь мертв, не может подать голоса. И царский конь в болоте по губы, не может выдраться.

Повздыхал Сисиний, помолился и, боднув коня, один поскакал в путь.

6

Путь полунощный — путь на девять зорь по трем тропам за холодные горы. Там, за холодными горами, под травой красной, белой и черной, под костями детей — бесное гнездо Ве?щицы.

Без отдыха проехал Сисиний на наступчивом верном коне три зари. И видит Сисиний, идет по пустыне Ве?щица. Она шла по пустыне, блеща огнем, длинные до пят волосы крыльями горели за ней, и от всего тела ее пыхало пламенем...

— Кто ты, откуда, и как имена твои? — крикнул Сисиний Дьяволу.

— Я крыло Сатанино, я Ве?щица, — и, захлебнув глазами Сисиния, прожгла его насквозь, так что все золото расплавилось на нем.

Тогда Сисиний, вздернув коня, схватил Ве?щицу за волосы и, сбив в мяч, стал колотить ее, и с каждым ударом давал ей по три тысячи ран, требуя выдать царских сынов.

— Я пожрала их, — воскликнула Ве?щица.

— Так изрыгни, проклятая.

— Ты изрыгни сперва на ладонь матерное молоко, которое сосал ты.

И, помолвившись, Сисиний изрыгнул на ладонь матерное молоко, которое грудным сосал он.

Тогда, пораженная чудом, сдалась Ве?щица, — изрыгнула всех семерых царевичей.

Сказала Ве?щица Сисинию:

— Клянусь тебе, святой воин, кто напишет двенадцать с половиною имен моих и будет при себе носить, тот избавится от меня, и не войду я в дом того человека, ни к жене его, ни к детям его, пока будет стоять небо и земля во веки. Аминь. А имена мои суть: Мора, Ахоха, Авиза, Пладница, Лекта, Нерадостна, Смутница, Бесица, Преображеница, Изъядущая, Полобляющая, Негрызущая, Голяда[310].

1906

Комментарии

ПОСОЛОНЬ

Все дореволюционные произведения публикуются по изданию:

Ремизов А. Сочинения: [В 8 т.]. СПб: Шиповник, 1910—1912 (далее при ссылках: Сочинения — с указанием соответствующего тома).

Первое издание книги сказок вышло в Москве, в издательстве журнала «Золотое руно», в 1907 году (далее — Посолонь, 1907). Печатается по тексту второго издания: Сочинения. Т. 6.

Упоминания о работе над книгой появляются в письмах А. М. Ремизова к Оге Маделунгу 1906 года. Первое — 10 апреля: «Пишу теперь сказки. Т. к. нигде не служу, то сижу сиднем за столом. Процесс писания для меня мучителен. Каждая фраза стоит страшно много времени. Переписываю без конца» (Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. Соренhagen, 1976. С. 39). «На днях выйдет книга сказок „Посолонь“, — замечает Ремизов в письме от 18 декабря. — Условия самые неважные. За всю книгу 340 р. да деньги получу частью по выходе, частью по распродаже книги. Это жди да пожди. Но соглашаюсь на все, а то очень все залеживается» (С. 41—42). 11 января 1907 г. он делится своими опасениями: «...книга успеха иметь не будет; словом мало кто заинтересуется» (С. 43—44).

«Посолонь» стала одним из первых шагов к воплощению задач, поставленных перед собой писателем: реконструкция народного мифа путем синтеза его реликтов, обнаруживающихся в различных фольклорных жанрах, и художественное пересоздание фольклорного текста. «При воссоздании народного мифа, — замечает А. М. Ремизов в письме в редакцию „Русских

ведомостей“, — когда материалом может стать потерявшее всякий смысл, но все еще обращающееся в народе, просто-напросто, какое-нибудь одно имя — „Кострома“, „Калечина-Малечина“, „Спорыш“, „Мара-Марена“, „Летавица“ или какой-нибудь обычай в роде „Девятой пятницы“, „Троецыпленницы“, — все сводится к разнообразному сопоставлению известных, связанных с данным именем или обычаем фактов и к сравнительному изучению сходных у других народов, чтобы в конце концов проникнуть от бессмысленного и загадочного в имени или обычая к его душе и жизни, которую и требуется изобразить». (

Ремизов А. М. Письмо в редакцию. — Русские ведомости, 1909, 6 сент., № 205). В последующие годы писатель многократно подчеркивает «невыдуманность» книги, ее ориентацию на фактические источники — вплоть до языка: «Однажды я сделал опыт: я вспомнил, что надо прикоснуться к земле и только тогда оживу. Я взял Областные словари, издание II Отделения Академии Наук (т. 76, № 5), и, медленно читая, букву за буквой, я, не спеша, обошел всю Россию. И откуда что взялось. Моя „Посолонь“ — ведь это не выдумка, не сочинение — это само собой пришло — дыхание и цвет русской земли — слова». (

Ремизов А. М. Иверень. Berkeley, 1986. С. 25).

Появление в свет «Посолони» вызвало немногочисленные отклики и рецензии. В личной переписке с А. М. Ремизовым высокую оценку дали книге сказок Е. А. Ляцкий, В. Я. Брюсов, Вяч. И. Иванов. Одной из самых развернутых и содержательных стала рецензия на «Посолонь» М. Волошина, который уделяет внимание языку и художественному своеобразие книги: «В „Посолонь“ целыми пригоршнями кинуты эти животворящие семена слова... <...>

Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи.

Искусство его — игра. В детских играх раскрываются самые тайные, самые смутные воспоминания души, встают лики древнейших стихийных духов» (

Волошин М. А. Лики творчества. Л., 1989. С. 508—509). В то же время форма сказок «Посолони» была предметом внимания А. Белого: «Здесь каждая фраза звучит чистотой необычайной, музыкой стихийной. Много стихийности в творчестве Ремизова... Но эта стихийность всюду покорена властным словом художника. Художник в Ремизове покоряет стихию. Оттого-то всюду в „Посолони“ такая победа над формой» (

Белый А. [Рецензия]. — Критическое обозрение. М., 1907. № 1. С. 34—36).

В своем дальнейшем творчестве А. М. Ремизов неоднократно возвращается к образам и мотивам «Посолони»: появляется ряд графических рисунков — изображений существ, населяющих книгу сказок, писатель предпринимает попытки отразить первозданный синкретизм архаического искусства, перекладывая сказки в либретто для балетов и пантомим. В дарственных надписях жене на различных изданиях «Посолони», приводимых Н. Кодрянской, А. М. Ремизов заключает: «Я так верил в эту книгу — вся она от легкого сердца. И память о какой-то такой весне, о которой знаю в минуты „тихого духа“, „Посолонь“! Больше такого не напишу: это однажды. В мире сейчас такое — это не нужно, но без этого не обойдешься. Посолонь из самых земляных корней. Это молодость!»

При подготовке второго издания Ремизов изменил композицию книги, сохранив при этом основные разделы, дополнил ее новыми сказками, исключил сказку «Чур» и снабдил цикл авторскими объяснениями — комментариями.

В 1930 году выходит третья редакция сказочного цикла (

Ремизов А. М. Посолонь. Волшебная Россия. Париж: ТАИР, 1930). А. М. Ремизов предваряет ее предисловием, фактически являющимся кратким экскурсом по всему циклу:

«Волшебная Россия — земляная — подземная — надземная — была, есть и будет, пока светит солнце над большой русской землей, и не раз скажется она в слове, пока жива человеческая речь и смотрят на мир детские глаза.

Беленький монашек, вы его знаете, он ходит по домам весной, весенний вестник, дал мне зеленую ветку, и с этой веткой я пошел по русской земле

посолонь (по-солнцу), как идет солнце — с весны на зиму.

По «красочкам» (по цветам) вышел я в первые весенние дни. Эти небесные звездочки пестрым ковром светились мне по дороге. На лужайке я наткнулся на Кострому; на моих глазах она и чай пила и несли ее хоронить, а уж что было, когда ожила — и правда, «мала куча, да не совсем»! едва выбрался, попил ключевой воды и дальше пошел. Берегу зеленую веточку! Попал я в круг мышек, помог им кулек тащить с костяными зубами, за зиму набросали им под печку ребятишки: «на тебе мышка зуб костяной, а дай мне железный». После мышек «гуси-лебеди» — я встретил волка, он зубы точил есть гусей, на шум мы бросились вместе посмотреть, в чем дело — и тут-то вот гуси на него и напали. Исщипанного волка я провожал в лес — у бедняги чуть хвост не оторвали. На кукушечий праздник — древний обряд «кумовства» я куковал вместе с кукушкой, отличить никак нельзя, всю «судьбу» перепутал. А вечером я был на балу у лисы: звери приняли меня по-приятельски, привязали мне на грудь дощечку с надписью «у лисы бал» и всю ночь я ходил с ними «по горам и по долам». Так справили проводы весны.

В первые летние дни я встретил Калечину-Малечину, скакал с ней на одной ножке. Проходя лесом ночью наткнулся на «Черного петуха», очень было страшно, меня ведь никто не знает и могли принять за «коровью смерть», но все обошлось благополучно. После этого я ходил с бабушкой и Петькой на богомолье, недалеко — в Косино (под Москвой). В Купальскую ночь (летний солонovorot) в полночь я видел, как расцвел папоротник — волшебный цветок папоротника называется «светицвет» и в его свете в лесу такое творилось, сам чорт зачесал затылок от удовольствия. Как-то застигла меня Воробьиная ночь — бесконечная, всю ночь молния и только под утро ударил дождь, а зато какое это было чудесное утро! По окончании жатвы я справлял дожинки — завивал васильками «бороду». Лето кончилось встречей с Чуром и Кикиморой.

Наступило «бабье лето» — ясные осенние дни — отлет птиц, и свадьбы — богатая осень. На воздвиженье помогал бабушке рубить капусту и с Петькой запускали змеев. В ненастье попал я в темную избу на курьи именины — «троецыпленницу». А самую глухую осень провел в башне у царевны Копчушки, тут я познакомился и с Соломиной-Вороминой и с Кощей и с шудами-лудами, перями да мерями.

Как-то утром ко мне постучалась Снегурочка, принесла на пальчиках первый снежок, а моя зеленая ветка — один прутик остался. Наступила зима — Корочунов царство, я его встретил в поле — это была моя последняя встреча, конец пути. Зиму я зазимовал в башне у беленькой Зайки: вся зайкина история прошла на моих глазах. Котофей Котофеич нам рассказывал сказки, а засыпали мы под медвежью колыбельную песню. Когда колесо солнца повернуло на лето (зимний солонovorot), я простился с беленькой Зайкой и со всеми ее приятелями и вернулся домой.

Моя ветка опять зазеленела, смотрите: маленькие листочки!»

В третьем издании писатель вносит в сказки некоторые стилевые изменения, предпринимает ряд сокращений, а также возвращает в состав «Посолони» сказку «Чур», вводит в «Посолонь» раннюю сказку «Скриплик» и один из «детских» рассказов — «Мака». Исходя из соображений стилевой целостности данного сборника, мы не приводим текст ремизовского рассказа, однако воспроизводим тексты не вошедших в основную редакцию сказок по изданию 1930 года.

Наташе . Северный край. 1903. 6 мая.

Весна-красна

Монашек .

Красочки .

Кострома .

Кошки и мышки .

Гуси-лебеди . Золотое руно. 1906. № 7.

Кукушка . Посолонь, 1907.

У лисы бал . Сочинения, т. 6.

Лето красное

Калечина-Малечина . Сочинения, т. 6.

Черный петух . Золотое руно. 1906. № 0.

Богомолье . Тропинка. 1907. № 10.

Купальские огн и. Золотое руно. 1906. № 10.

Воробьиная ночь . Посолонь, 1907.

Борода . Посолонь, 1907.

Кикимора . Северные цветы, 1905, № 4.

Осень темная

Бабье лето .

Змей . Золотое руно. 1906. № 10.

Разрешение пут . Помощь голодным. М., 1907.

Плача . Курьер. 1902. 8 сент., под загл. «Плач девушки перед замужеством», под псевдонимом Н. Молдованов.

Троецыпленница . Посолонь, 1907.

Ночь темная . Посолонь, 1907.

Снегурушка . Золотое руно. 1906. № 10, под загл. «Снегурочка».

Зима лютая

Корочун . Золотое руно. 1906. № 10.

Медведюшка . Новый путь. 1903. № 6 (июнь).

Морщинка . Впервые отдельным изданием вышла в 1907 г. (Спб.: Шиповник, Детская библиотека).

Пальцы . Тропинка. 1909. № 1.

Зайчик Иваныч . Тропинка. 1906. № 8.

Зайка . Сочинения, т. 6.

Медвежья колыбельная песня . Посолонь, 1907, под загл. «Колыбельная песнь».

К МОРЮ-ОКЕАНУ

Цикл является непосредственным дополнением, присоединенным к «Посолони» во втором издании книги (Сочинения. Т. 6). Печатается по этому изданию.

«Готовлю сейчас полевую, лесную и болотную книгу, — пишет А. М. Ремизов в письме О. Маделунгу 1/14 марта 1908 г. — продолжение „Посолони“, куда, кроме своих, вошли бы мифы славянские» (Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. Copenhagen, 1976. С. 45). Сказка «Скрипстик» присоединена писателем к циклу в редакции 1930 года (

Ремизов А. М. Посолонь. Волшебная Россия. Париж: ТАИР, 1930).

Мышиными норами

Котофей Котофеич . Золотое руно, 1908, №№ 11—12, под загл. «Котофей Котофеич отпускает нас к Морю-Океану»

Волк-Самоглот . Всеобщий журнал. 1911. № 1.

Весенний гром . Луч света. 1909. № 2 (22 янв.).

Ремез — первая пташка . Альманах 17. Спб. 1909.

Белун . Золотое руно. 1907. № 7.

Собачья доля . Солнце России. 1911. № 10.

Божья Пчелка . Альманах 17. Спб., 1909, под загл. «Пчелы».

Проливной дождь . Альманах 17. Спб., 1909.

Колокольный мертвец . Свободным художествам. 1910. № 1.

Задумницы . Золотое руно. 1908. № 1.

Ангел-хранитель . Северное сияние. 1909. № 4.

Спорыш . Журнал театра литературно-художественного общества. 1909.

Лютые звери . Всеобщая газета. 1911. № 827.

Ведогонь . Золотое руно. 1908. № 1.

Летавица . Русская мысль. 1909. № 4, под загл. «Ночь у Вия».

Змеиными тропами

Копоул Копоулыч . Жатва. М., 1911, под загл. «В Кашеевом царстве».

Упырь . Всеобщий ежемесячник. 1911. № 1.

Верба . Русская мысль. 1907. № 1.

Радуница . Речь. 1908. № 130.

Каменная баба . Северное сияние. 1909. № 4.

Лужанки . Свободным художествам. 1910. № 1.

Крес . Золотое руно. 1908. № 1.

Нежит . Золотое руно. 1907. № 7.

Коловертыш . Утро России. 1910. 8 сент.

Ховала . Золотое руно. 1907. № 7.

Мара-Марена . Цветник Ор. Кошница первая. Спб., Оры, 1907.

Марун . Свободным художествам. 1910. № 1.

Рожаница . Зритель. 1908. № 1.

Боли-Бошка . Северное сияние. 1909. № 4.

Завитушка. Куда мы идем. М., Заря, 1909.

Скриплик. Новая русская книга. 1902. № 1, под загл. «Крюк».

Чур. Посолонь, 1907.

Ве?щица.

Ремизов А. Лимонарь, сиречь луг духовный. Спб.: Оры, 1907 — под заглавием «Ве?щица, имен которой двенадцать с половиною. Изъявление». Публикуется по изданию: Сочинения. Т. 7.

Примечания

1

ПОСОЛОНЬ — по солнцу, по течению солнца. Церковнославянские слънь (слонь), слънь-це (слоньце), древнерусское сълънь (солонь), сълънь-це (солоньце) — солнце, отсюда посьлънь (посолонь) — по солнцу. На Спиридона-поворота (12 декабря) солнце поворачивает на лето (зимний солоноворот) и ходит до Ивана Купала (24 июня), с Ивана Купала поворачивает на зиму (летний солоноворот).

Содержание книги делится на четыре части: весна, лето, осень, зима, — и обнимает собою круглый год. Посолонь ведет свою повесть рассказчик — «по камушкам Мальчика с пальчика», как солнце ходит: с весны на зиму. (Примечания А. М. Ремизова. Далее:

АМР)

2

Наташа — Наталья Алексеевна Ремизова (1904—1943), дочь писателя.

3

ВЕСНА-КРАСНА. Содержание «Весны» представляет мифологическую обработку детских игр («Красочки», «Кострома», «Кошки и мышки»), обряда кумовства — «крещения кукушки» («Кукушка») и игрушки («У лисы бал»). Игры, обряд, игрушки рассматриваются детскими глазками как живое и самостоятельно действующее.

(АМР)

4

Монашек — беленький монашек — вестник Солнца. Монашек ходит по домам и раздает первые зеленые ветки — символ народившейся Весны. Благовещение.

(АМР)

5

Красочки, или Краски, — игра. Играют в Красочки так: выбирают считалкой

Федя-Ме?дя

Съел медведя,

Продал душу

За лягушу,

Родивон,

Выди вон.

(считают кому водить, т. е. быть главным лицом, начинать игру) Беса и Ангела, остальные называют себя каким-нибудь цветком; названия цветов объявляют Ангелу и Бесу, не говоря, кому какой цветок принадлежит. Ангел и Бес должны будут сами разобрать цветы. Сначала приходит Ангел, звонит, спрашивает цветок, потом приходит Бес, стучит, спрашивает цветок. Так, чередуясь, разбирают все цветы. Играющие составляют две партии — цветы Ангеловы и цветы Бесовы. Ангел приступает к исповеди, а Бес с своей партией искушает — рассмеивает. Вся игра в том и заключается, чтобы рассмеять: кто рассмеется, тот идет к Бесу.

(АМР)

Красочки, краски — цветок, цветы. Говорят: идти по красочки, собирать красочки. Хлеб в краске — время цветения хлебов.

(АМР)

6

Вертушка — те, кто вертится, кто на месте смирно минуты не посидит, непоседа, а также человек ветреный.

(АМР)

7

Пузичко — животик.

(АМР)

8

Юлой юлят — егозят; юла — волчок.

(АМР)

9

Гуготня — хохот, писк, шушуканье, прыск сорвавшегося долго сдерживаемого смеха, все вместе.

(АМР)

10

Рогача — стрекоча задавать — выверты вывертывать. Тут дело идет о бесенятах рогатых. Известно, бесенята отскочат да боднут — такая у них игра. Рогач — ухват, рогачи — вилы. Стрекоча — стреконуть, скочить кузнечиком.

(АМР)

11

Да бегом горелками — играющими в горелки.

(АМР)

12

Бес-зажиг — зачинатель; зажиг — зачин.

(АМР)

13

Кострома — игра. Выбирают Кострому или кто-нибудь из взрослых разыгрывает Кострому, остальные берутся за руки, делая круг. В середку круга сажают Кострому и начинают ходить вокруг нее хороводом. Из хоровода кто-нибудь один (коновод или хороводница), а не все, допытывает у Костромы, что она делает? Кострома отвечает, — Кострома делает все, что

делает обыденно: Кострома встает, умывается, молится Богу, вяжет чулок и т. д. и, как всякий, в свой очередь умирает. И когда Кострома умирает, ее с причитаниями несут мертвую хоронить, но дорогой Кострома внезапно оживает. Вся суть игры в этом и заключается. Окончание игры — веселая свалка.

(АМР)

Похороны Костромы, как обряд, совершался когда-то взрослыми. В Русальное заговенье на всехсвятской неделе (воскресенье перед Петровками) или на Троицу и Духов день делалось чучело из соломы и с причитаниями чучело хоронилось — топили его в реке или сжигали на костре. Кострому изображала иногда девушка, ее раздевали и купали в воде. В Купальской обрядности рядом с куклой-женщиной (Купало, Марина-Марена) употреблялась и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько). Миф о Костроме-матери вышел из олицетворения хлебного зерна: зерно, похороненное в землю, оживает на воле в виде колоса. См.:

Е. В. Аничков. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян. СПб., 1903—1905.

(АМР)

Кострома — костер — жесткая кора конопли, костер.

(АМР)

14

Лепуны-щекотуньи — прозвище, детворе. Лепуны — лепетать, лопотать; лепает — говорит кое-как.

(АМР)

15

Чувыркают-чивикают — воробьиное щебетанье. В песне говорится:

Как на крыше, на повети,

воробей чувыркал...

(АМР)

16

Бросаются все захлес — один за другим безостановочно. Наседая, вцепляются в Кострому

удавкой — так, что ей уж никакими силами не выбраться из петли детских рук.

(АМР)

17

Проходят калиновый мост. — Калина — символ девичьей молодости; ходить по калиновому мосту — предаваться беззаветному веселью.

«Ой, нагнала лета мои на калиновом мосту; ой, вернитесь, вернитесь хоть на часок в гости!»

(АМР)

18

Зеленей зеленятся — зеленятся озимью; зелена — озимь, зель в противоположность яровому (яри).

(АМР)

19

По черным утолкам — Толока — пар, пустое поле.

(АМР)

20

По пробойным тропам — по торным тропам. Пробой — выбоина.

(АМР)

21

Гиблое болото — губящее, где погибло много народа.

(АМР)

22

Леснь-птица — мифическая птица, живет в лесу, там и гнездо вьет, а уж начнет петь, так поет без просыпу. В заговоре от зубной боли «от зуб денной» говорится: «Леснь-птица умолкает, умолкни у раба твоего зубы ночные, полуночные, денные, полуденные...» Леснь-птица — птица лесная, как леснь-добыча — лесная добыча.

(АМР)

23

Егорий кнутом ударяет. — Св. Георгий — скотопас, все звери у него под рукою. Егорий вешний — 23 апреля.

(АМР)

24

Кошки и мышки игра известная. Выбирается Кошка и Мышка. Остальные берутся за руки и делают круг. В круг (на кон) пускается Кошка, а за кругом (за коном) бегают Мышки. У Кошки и у Мышки имеются условленные свои ворота, через которые можно им входить и выходить: одни пары играющих поднимают руки только для Кошки, другие только для Мышки. Вся игра в том, чтобы Кошка поймала Мышку.

(АМР)

25

Тацили кулек с костяными зубами. Есть такое поверье, когда у детей выпадает зуб, следует его бросить под печку мышкам, говоря: «На тебе, мышка, зуб костяной, а дай мне железный».

(АМР)

26

Заячьи ушки — название ландышей.

(АМР)

27

Громовая стрелка — чертов палец, сплав, который образуется от удара молнии в песчаную почву. Эта Громовая стрелка ведет мену с мышками: за зуб костяной дает зуб железный. А уж мышки потом детям раздают. Вот почему мышки к Громовой стрелке и пробираются с кульком.

(АМР)

28

Свистуха — непоседа.

(АМР)

29

Кот-Котонай — Котофей. В песне:

Уж ты кот-котонай,

Уж ты серенький коток

Кудреватенький.

(АМР)

30

Строковат — строка, насекомое из породы слепней, липнет к котам и кусает больно.

(АМР)

31

Гуси-лебеди — игра. Выбирается Мать-гусыня и Волк. Остальные играющие, изображая стадо, бегут на выгон в поле. Потом, когда на зов матери гуси собираются домой уходить, все

они перенимаются волком. Мать идет выручать гусей и, найдя своих, нападает на Волка. Топят баню и моют Волка. Развязка самая шумная.

(АМР)

32

Черти бились на кулачки — предрассветный сумрак — лисья темнота (полночь).

(АМР)

33

Рай-дерево — название сирени.

(АМР)

Рай-дерево — У А. А. Потебни («О купальских огнях и сродных с ними существах» — Харьков, 1914) воспроизводится более емкая семантика обрядового образа. Рай-дерево, с одной стороны, выступает в качестве одной из ипостасей «мирового древа», охватывающего все ярусы мироздания, — исходной точки восточно— и южнославянской космогонии. С другой стороны, характерное название «рай-дерево» носит в отдельных местностях свадебное деревце, наряжаемое во время девичника. Таким образом, в одной из деталей мифологической обработки детской игры проступает у А. М. Ремизова скрепляющий воедино сказочный цикл мотив неустойчивости мироздания, «пограничной ситуации» (М. М. Бахтин, В. Н. Топоров), ключевой для реконструируемого писателем мифологического мировосприятия. Именно в силу проявляющейся в определенные моменты экспансии хаотических сил сближаются, а иногда и отождествляются далее в цикле смерть и свадьба, свадьба и детское освоение мира.

34

Томновать — томность, томный, — тосковать.

(АМР)

35

Девки-пустоволоски — простоволоски, с непокрытой головой.

(АМР)

36

Бабы-самокрутки — окрутившиеся своей волей, ведьмы.

(АМР)

37

Одолень-трава — одолей трава — приворотная, одолевающая.

(АМР)

38

Водяники — водяницы, русалки, утопленницы.

(АМР)

39

Кукушка — Можно заметить, что обрядовые действия, вырождаясь у взрослых, переходят к детям в виде игры. Так древние обряды Ивановского кумовства (на Ивана Купала) с завиванием венков, с сплетением травы, волос, с поцелуями и песнями перешли в игру «Крещение кукушки». Крестят кукушку на Николин день или на Вознесенье, на Семик и Троицу. Гурьбой отправляются дети в лес или рощу. Дорогой, отыскав траву-кукушку, наряжают ее девочкой, а другую траву-кокуна мальчиком, обе травки кладут под березу, на сук вешают крест-тельник и, став друг против друга под крестом, кумятся: протягивают одна другой руку и, поцеловавшись, переменяют место, так трижды. Потом раскладывают костер и готовят яичницу. Иногда на кумовстве завивают венки, через венки целуются, потом пускают венки на реку.

(АМР)

40

Прилетел кулик из-за моря — кулик прилетает 9 марта, на святые Сороки, на сорок мучеников. В этот день пекут жаворонков.

(АМР)

«...прилетел кулик из-за моря...» — комплекс примет, присловий и обрядов, непосредственно связанных с православным днем поминовения Сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (9 марта ст. ст.), воспроизведен И. П. Сахаровым в «Сказаниях русского народа».

41

Кукушечье-горюшечье — кукушка — символ тоскующей женщины.

(AMP)

42

Виловатая сосна — развилистая.

(AMP)

43

На красе — на базе, так что все только и любят.

(AMP)

44

Гора-круча — обрывистая гора.

(AMP)

45

Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить? — Кукушка почитается имеющей влияние на судьбу человека, по ее голосу можно узнать, сколько лет осталось жить.

(AMP)

46

Ворогуша — веснуха, одна из сестер-лихорадок, она садится в виде белого ночного мотылька на губы сонного и приносит ему болезнь. Ворогуша — ворогуха — ворожея. В Орловской губернии больного купают в отваре липового цвета. Снятую с него рубаху больной должен ранним утром отнести к речке, бросить ее в воду и промолвить: «Матушка-ворогуша! на тебе рубашку с раба Божьего, а ты от меня откачнись прочь!» Затем больной возвращается домой молча и не оглядываясь.

(АМР)

47

В петушках — петушки — цветы травы, поднимающиеся из листа, будто петушиная шейка. Если взять траву и, зажав ее в ладонях, приложить губы к большим пальцам и дуть, то можно прокурекать не хуже молодого петуха.

(АМР)

48

Чирюкан — сверчок, кузнечик.

(АМР)

49

У лисы бал — деревянная игрушка. Десять фигурок укреплены на скрещении сдвигающихся и раздвигающихся дощечек-дранок. Когда дощечки раздвинуты, получается ряд фигурок: 1-2-1-2-1-2-1, а когда сдвинуты: 3-3-3-1. Читать надо строго, любовно и важно. Там, где звери собираются и переходят ров и вал, надо напустить страха: «сам с усам, сам с рогам». Рисунок художника М. В. Добужинского «у лисы бал» воспроизведен в «Золотом руне». Музыка к тексту — В. А. Сенилова.

(АМР)

50

ЛЕТО КРАСНОЕ — Содержание «Лета» представляет мифологическую обработку детской игры («Калечина-Малечина»), обряда опахивания («Черный петух»), купальской ночи («Купальские огни»), грозной воробьиной ночи («Воробьиная ночь»), обряда завивания бороды Велесу, Илии, Козлу («Борода»), легенды о Костроме. Сюда же входит рассказ

«Богомолье» о Петьке.

(АМР)

51

Калечина-Малечина — игра. Играют так: берут палочку, ставят торчком на указательный палец и, стараясь удержать ее, приговаривают: «Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?» И сам же держащий палочку отвечает: «Один, два, три, четыре...» На каком часе палочка с пальца свалится, столько часов, выходит, и остается до вечера.

(АМР)

Калечина-Малечина — тоненькая, как палочка, об одном глазе, об одной руке и об одной ноге. Калечина-Малечина — лесная. Братья ее — семь ветров, а восьмой — витной вихрь — ее друг сердечный, который и бьет ее, и треплет, и неверен, постылый. Целую ночь гуляет Калечина в лесу, а на день где-нибудь в плетне сидит и ждет вечера, чтобы снова трепаться. И всякому, кто только ни спросит ее о вечере, непременно скажет: так ждет она с нетерпением вечера. Музыка к тексту написана В. А. Сениловым.

(АМР)

52

Курица со двора, Калечина в ворота — с рассветом важно выступает курица из ворот на улицу, открывая день. Калечина, прогулявшая ночь, измызганная сигает в ворота.

«Ку-ри-ца со дво-ра»... — эту фразу надо читать медленно и важно, с приподнятой головой, изображая медлительностью курицын выход, и, сделав небольшую паузу, скороговоркой продолжать: «Калечина в ворота».

Точно так же и последние две фразу: «Ку-ри-ца в во-ро-та — Калечина со двора».

(АМР)

53

Вихорь витной — свивающий, скручивающий.

(АМР)

54

Вир — водоворот, крутень.

(АМР)

55

Темную нитку прядет — ночь, ткущая темную ткань, — древний образ ночи, встречающийся в Гимнах Вед.

(АМР)

56

Черный петух — сожжение черного петуха относится к обряду опахивания — очищения села от болезни и нечисти. Подробное и сравнительное исследование этого обряда в книге проф. Е. В. Аничкова «Весенняя обрядовая песня на западе и у славян», ч. I и II, СПб., 1903—1905.

Черный петух — поглощает все болезни и нечисть, — символ всех зол и напастей и самой Смерти в противоположность не черному, будимиру, который является символом воскресения, солнца.

(АМР)

57

От недели до недели — с воскресенья до воскресенья, с седмицы до седмицы.

(АМР)

58

Алатырное — бледно-янтарное; алатырь — легендарный краеседмицы угольный камень.

(АМР)

59

Алатырное жито — один из примеров «орнаментального» вплетения А. М. Ремизовым в художественный текст мифологических образов и мотивов. Вынося в авторский комментарий

весьма спорное толкование слова

«алатырь» — «янтарь, греч. электрон, переделанное на татарский лад», приведенное в Словаре В. И. Даля, писатель актуализирует в контексте сказки и основную, мифологическую семантику образа. Так, по А. Н. Афанасьеву, «алатырь-камень есть собственно метафора ясного весеннего солнца»

(Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1867. Т. 2. С. 158).

Алатырь-камень, «всем камням отец», — один из ключевых образов «Стиха о Голубиной Книге» (

Бессонов П. А. Калики переходящие. М., 1864. Т. 2. С. 313), рассредоточенных в сказочных циклах А. М. Ремизова, но по-прежнему играющих роль пространственно-временных констант мифологически упорядоченного мироздания.

60

Пчелка несет праздники — воск для церкви и мед для пиров.

(АМР)

61

Коровья смерть — чума на скот.

(АМР)

62

Веснянка-Подосенница — весенняя и осенняя лихорадка.

(АМР)

63

Подтынница, Навозница, Веретенница, Болотница и др. — названия сорока сестер-лихорадок.

(АМР)

64

Носить змеиною выползка — помогает от лихорадки; носить надо месяц, не снимая ни на ночь, ни в бане; выползок — змееныш, выползший из норы.

(AMP)

65

Спорыши — петушиные яйца, если петух возьмется яйца нести.

(AMP)

66

Стряпает из ребячьего сала свечу — этой свечой можно усыпить; когда такая свеча зажжена, бери все что угодно, никто не проснется; сало надо обязательно из живого человека.

(AMP)

67

Золотой гриб — помогает от всех болезней.

(AMP)

68

Курник — курятник.

(AMP)

69

Мутовка — палочка с рожками на конце для пахтанья, взболтки и чтобы мешать.

(AMP)

70

Шумя и качаясь — очистительная сила огня.

(AMP)

71

С горящим угольком — очистительная сила дыма. Такое же значение имеют качели.

(AMP)

72

Назем — навоз.

(AMP)

73

На месяце подымал на вилы Каин Авеля — народное объяснение лунных пятен.

(AMP)

74

Дышал гарным петушьим духом — горелым, пережженным, выжженным огнем, гарью.

(AMP)

75

Надел на Алену хомут — испортил, наслав грудную болезнь: одышку, удушье.

(AMP)

Петька — персонаж, кочующий из одного ремизовского произведения в другое. Так, он становится главным героем рассказа «Петушок» (1911), сцена его гибели повторяется в эпизоде «избиения младенцев» из апокрифа «Рождество» (Путь. 1927. № 6 (январь). С. 11).

Шаландать — шататься, шалить; шаланда — парусное судно.

(АМР)

Вольготно — хорошо, легко, удобно, свободно.

(АМР)

Умора — умора да и только, т. е. такое состояние, при котором умираешь со смеха.

(АМР)

Купальские огни — канун Иванова дня, с 23 на 24 июня.

(АМР)

Купальские огни — Ночь на Рождество Иоанна Предтечи, совпадающая с календарным летним солнцеворотом, сохраняет черты центрального из солнечных или огненных славянских праздников (

Потебня А. А. О купальских огнях и сродных с ними существах. Харьков, 1914). Огонь (купальский огненный цветок папоротника) выступает в Купальскую ночь амбивалентной силой, одновременно покровительствующей и губительной, отсюда столь важную роль начинает играть у А. М. Ремизова мотив «зарочного клада», открывающегося только через чью-либо смерть, и сказка превращается в Навий пир.

81

Солнце заскалило зубы — черт дочку замуж выдает, — так говорится, когда светит солнце и в то же время идет дождь.

(АМР)

82

Чарая — носящая в себе чары.

(АМР)

83

Навье, навы — мертвецы, покойники, выходцы с того света; нава — смерть.

(АМР)

84

Криксы-вараксы — мифическое существо, олицетворение детского крика. Если ребенок кричит, надо нести его в курник и, качая, приговаривать: «Криксы-вараксы! идите вы за крутые горы, за темные леса от младенца такого-то». Крикса — плакса. Варакса — пустомеля. Вараксать — вахлять, валять.

(АМР)

85

Зарочные три головы и т. д. — зарекать, запрещать. Обыкновенно клады зарывались с зарок, чтобы, скажем, погибло три человека и сто воробьев и тогда пускай дается клад в руки.

(АМР)

86

Кулички — кулича, выкорчеванный лес; поговорка возникла при первом корчевании, когда на таких выселках поселялись, и имелась в виду отдаленность. См.:

С. Максимов. Крылатые слова. СПб., 1890.

(АМР)

87

Чокнется — чек, бух, хлоп, стук, бряк, шлеп — звук удара.

(АМР)

88

Дуб сорокавец — древний дуб.

(АМР)

89

Скоропея — скорпий, идол Скоропит. Scorpio.

(АМР)

90

Гуш-гуш, хай-хай — восклицание на отогнание беса.

(АМР)

91

Облом — нечистый, дьявол.

(АМР)

92

Неподтыканный — независимый и неприкосновенный. Тронь-ка, попробуй, он тебе даст!

(АМР)

93

С мухой в носу — колдун. В Белоруссии о колдуне говорят: «У него мухи в носе». Нечистая сила охотно превращается в мух. Выражение про человека, что он «с мухой» означает, что тот человек находится в опьянении. Водка — кровь Сатанина.

См.:

П. Тиханов . Брянский говор. Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук, т. LXXVI, № 4.

(АМР)

94

Приходи вчера — говорит против действия живой злоехидной силы. См.:

С. Максимов . Крылатые слова.

(АМР)

95

Гулким походом — ходом.

(АМР)

96

Обрада — желанный.

(АМР)

97

Сорока-щектуха — щекотуха. В одном заговоре говорится: «От всякой злой птицы, сороки-щектухи, от черного ворона».

(АМР)

98

Тихой поплыней — тихо плывя.

(АМР)

99

Двенадцать грешных дев — истоки и семантика образа весьма туманны. И. П. Сахаров приводит при описании обряда опахивания, избавления от «коровьей смерти» одно из ритуальных заклинаний, отражающее фактическую сторону обряда:

От Океан-Моря глубокого,

От лукоморья ли зеленого

Выходили двенадцать дев...

И клали велик обет

Дванадцать дев:

Про живот, про смерть,

Про весь род человекь...

(Цит. по кн.

Сахаров И. П. Сказания русского народа. М., 1989. С. 243). Мифологической обработкой данного обряда становится в «Посолони» «Черный петух». Однако можно предположить, что двенадцать дев, получающих, согласно обрядовым законам, право на лишение жизни всякой твари, которая попадетс я им на пути, появляются уже в Купальскую ночь в соседстве с иссушающей сердца алой Вытарашкой и замыкают собой плеяду восставших губительных сил.

100

Вытарашка — олицетворение любовной страсти, лишаящей человека рассудка: ее ничем не

возьмешь и в черную печь не угонишь, как выражается один заговор на присуху. См.:

Д. Зеленин . Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию. Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад, наук, т. LXXVI, № 2.

(АМР)

Вытарашка — также название вечно тревожащегося, мечущегося человека.

(АМР)

101

Воробьиная ночь — так называется грозная ночь с сплошной молнией, когда лишь под утро разражается ливень.

Эта ночь представляется воробьиной свадьбой, на которой невеста-воробушка перед венцом причитывает.

(АМР)

Фольклорная символика сказки подробно описана в статье С. Н. Доценко «Воробьиная ночь» А. М. Ремизова (Русская речь. 1994. № 2. С. 103—107).

Воробьиная ночь — в центральной части России «воробьиные» или «рябиновые» ночи соотносились ранее с праздником Успения Богоматери (15 августа ст. ст.). В народных представлениях о «воробьиных ночах» находит наиболее полное выражение фольклорная символика воробья как птицы, связанной с культом Перуна и олицетворяющей собой молнию, оплодотворяющую землю, вследствие чего воробью приписывается ряд оплодотворяющих функций и он начинает играть магическую роль в аграрно-производящих культах и ритуалах. Этим объясняется и частое упоминание воробья и воробьихи в свадебных песнях и причитаниях, и уподобление Ремизовым, вслед за народной традицией, грозы — свадьбе. Так, образ воробушки-невесты встречается в песнях из собрания В. П. Шейна, известных Ремизову (

Шейн В. П. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках и легендах и т. п. Спб., 1900).

102

Копы — копны.

(АМР)

103

В заводях — заводь, затон — мелкий речной залив.

(АМР)

104

Воробушки — олицетворение молний.

(АМР)

105

Кузнец Кузьма-Демьян — Брак представляется ковкою.

(АМР)

106

Узлюлекнула — воскликнула, возрыдала.

(АМР)

107

До любви — досыта, до полного удовольствия.

(АМР)

108

Горы воробьевые — характерный образ народных песен и причитаний. См., например, в собрании Соболевского:

Ах вы, горы, горы Воробьевские!

Породили, горы, бел горюч камень...

109

Засвирило все небо — застонало.

(АМР)

110

Переكاتи-поле — название растения; иначе — бабий ум, кучерявка.

(АМР)

111

Не разжалила — не разжалобила.

(АМР)

112

Гнездо ремезово — за искусство вить гнездо ремез зовется первой пташкой у Бога; гнездо кошелем.

(АМР)

113

Догорела страстная свеча — четверговая, зажигается во время грозы, чтобы оградить дом от молнии.

(АМР)

Четверговая страстная свеча — свеча, которая зажигается каждым из присутствующих в православном храме во время чтения двенадцати отрывков из Евангелий вечером Страстного четверга. Свеча сохраняется негасимой до порога дома и в народно-бытовой христианской традиции приобретает функции всевозможных оберегов.

114

Поросятки-викуны — викарь, визжать.

(АМР)

115

В падалках — в упавших с дерева фруктах-скороспелках.

(АМР)

116

Борода — «Завивание бороды» Велесу (Волосу), Спасу Илье, Николе или Козлу — древний жатвенный языческий обряд, совершавшийся в последний день жатвы, называемый дожинками, зажинками, обжинками. См.:

А. Н. Афанасьев . Поэтические воззрения славян на природу, т. II. М., 1866—1869. На Ильин день — 20 июля начинают зажинать рожь. Связь зажинок с Козлом — А. А. Потебня («Объяснения малорусских и сродных народных песен». Варшава, 1887) объясняет тем, что распространенному верованию почти всех европейских народов «душа нивы есть козло — или козообразное существо (как фавн, Сильван), преследуемое жнецами и скрывающееся в последний несжатый пук колосьев или в последний сноп».

(АМР)

117

Ильинский олень окунул рога в речке — по народному поверью на Ильин день прибегает к реке олень и мочит свои рога и оттого вода холоднее.

(АМР)

118

На все прилучья — на все случаи.

(АМР)

119

Скоро-им-в-путь-опять — такая же птичья скороговорка, как перепелиное: «спать-пора!» или «пить-пийдем!»

(АМР)

120

На красное годье — время.

(АМР)

121

Нивка, отдай мою силу! — «Нивка-нивка! отдай мою силку. Что я тебя жала, силку роняла!»

(АМР)

122

Пригудка — прибаутка.

(АМР)

123

Горкуя голубем — воркуя голубем.

(АМР)

124

От четырех птиц — железных носов — в одном охотничьем заговоре говорится: «Стоит в чистом поле дуб, на том дубе четыре птицы — железные носы».

(АМР)

От четырех птиц —

железных носов — ср. встречающийся далее в цикле «К Морю-Океану» образ «Птицы с одним железным клювом на тонкой шее без головы». Образы эти, с одной стороны, уходят своими корнями в народную эсхатологию, где одним из наиболее зрелищных апокалиптических образов становится карающая птица Главина:

Сошлю на вас спядателей,

Птицу Главину, крылья орлины,

Крылья орлины, ноги железныя,

Власы на них женския:

Расточат вашу кровь христианскую.

(Цит. по кн.:

Федотов Г. П. Стихи духовные. М., 1991. С. 48.) Вместе с тем в эсхатологических образах А. М. Ремизов выделяет черты игрушечности, механистичности, чем в значительной степени лишает их устрашающей семантики.

125

Из-за темных каточин — ложбин.

(АМР)

126

Купена-лупена — волчья трава, сорочьи ягоды.

(АМР)

127

Вындрик-зверь — Индрик-зверь — мифический зверь, Индра ходит под землю, как солнце на небе.

В Голубиной книге рассказывается об этом звере, о властителе подземелья и подземных

ключей, а также как о спасителе вселенной во время всемирной засухи, когда он рогом выкопал ключи и пустил воду по рекам и озерам. Индрик угрожает своим поворотом всколебать всю землю. Так рассказывается о нем в древних стихах, но в более поздних христианских зверь укрощен: он живет семьянином и молится Богу, а от поворота его колышется только его родная гора, да кланяются ему прочие звери. Индрик-зверь — мать зверям. См.:

П. А. Бесонов . Калики переходящие, т. I. М., 1861.

(АМР)

128

Кикимора — существо проказливое, озорное. На севере любят Кикимору, и она дурного ничего не делает, там она почетная гостья: без нее и пир не в пир. На юге другое, там она родная сестра Полудницы, а Полудницы не очень-то ласковы. Встретишь Полудницу, она тебе загадку загнет, да такую, что век не разгадаешь. Ну и пропал — защекочет до смерти. См.:

Ф. И. Буслаев . Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Спб., 1861;

И. П. Сахаров . Сказание русского народа. Спб., 1885.

(АМР)

129

ОСЕНЬ ТЕМНАЯ. Содержание «Осени»: богатая осень — «Бабье лето», рассказ «Змей», обряд «Разрешение пут». Заплачка невесты; протяжная осень — «Троецыпленница», сказка «Ночь темная» и «Снегурушка».

(АМР)

130

Бабье лето — начало осени с Семенова дня по Аспосов день (с 1—8 сентября), вообще же бабьим летом зовутся теплые ясные дни осени.

(АМР)

131

Расторопица — распутица, осенние и весенние грязи.

(АМР)

132

Сырым серебром — старинное народное определение: «сыро серебро, сухо золото».

(АМР)

133

Едет по полю Егорий — св. Георгий разъезжает на белом коне и раздает зверям наказы.
Егорий холодный — 26 ноября (Юрьев день).

(АМР)

134

Вылынь — волынять, выплывать.

(АМР)

135

Гомон — гом, гам, громкий говор, крик, шум.

(АМР)

136

Житье-бытье испроведовать — узнать, доведаться.

(АМР)

137

По-темному — несправедливо.

(AMP)

138

Таратора — тараторить — без умолку говорить; звукоподражательное слово.

(AMP)

139

Смертную рубашку — рубашку на смерть, в которой в гроб лечь.

(AMP)

140

Батюшка-пещерник — в пещере живет.

(AMP)

141

Не выведешь монашкой — монашка — угольная курильная свечка, зажигается эта свечка, чтобы воздух прочистить.

(AMP)

142

Пострел — постреленок, непоседа, повеса, сорванец, сорвиголова.

(AMP)

143

Гулена — праздный, шатун.

(АМР)

144

Хвост зачиклечился — если нитка или хвост бумажного змея за что-нибудь заденет и застрянет.

(АМР)

145

«...птицей на море улечу, совью там гнездо, снесусь...» — характерный образ, в котором нередко воплощаются в ремизовской прозе мечтания ребенка. (Ср., например, с мечтами мальчика Ивана Трофимовича из повести «Часы» (1908) о существах Куринасах, живущих в вожделенной стране и несущих яйца (Ремизов А. М. Неуемный бубен. Кишинев, 1988. С. 253—254). О функциях данного мотива в творчестве Ремизова см.:

Горный Е. Заметки о поэтике А. М. Ремизова: «Часы». — В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана. Сборник статей. Тарту, 1992. С. 192—209. В «Посолони» этот мотив органично вписывается в систему архаических представлений о плодотворных жизненных силах мироздания, возрождающих жизнь из хаоса смерти. В последующие годы А. М. Ремизов выделяет прежде всего этот животворный аспект «Посолони». Так, Н. Кодрянская приводит историю излечения «здравомыслящей, впавшей в „изумление ума“, московским психиатром Певзнером, который рекомендовал больной изготовить изображения существ, населяющих „Посолонь“. „Я спросил психиатра о причине болезни. Доктор ответил — на эротической почве, — констатирует А. М. Ремизов. — И я подумал: в моей Посолони заключены семена жизни“

(Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 119).

146

Разрешение пут — северный обряд, олонецкий.

(АМР)

147

Пунтилей — св. Пантелеймон.

(АМР)

148

Плача — плач девушки перед замужеством, — с зырянского. См.:

Г. С. Лыткин . Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. Спб., 1889.

(АМР)

В основе лежат сразу два свадебных зырянских причитания — «Перед венчанием» и «Плач» из кн.:

Лыткин Г. С. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. Спб., 1889. С. 193—194, 175. А. М. Ремизов, контаминируя строки причитаний, устраняет позднехристианские молитвословные элементы и семейно-родовые ритуальные формулы и расширяет космогонию плача, актуализируя мифологическую сторону слабо сохранившегося в причитаниях тождества макрокосма и микрокосма. В итоге — лирическая героиня «Плачи» остается наедине со стихийными силами и предельно обостряется мифологическая семантика свадебного обряда как критической ситуации перехода в новое состояние, чреватой опасностями, небытием, смертью.

149

Троецыпленница — Троецыпленница — курица, высидевшая три семьи цыплят — по три года парившая. Существует поверье, что такого рода курицу нужно непременно зарезать, причем есть ее могут только «честные» вдовы. На обед троецыпленницей допускается всего один мужчина, да и тому голову завязывают по-бабьи. Обряд «моления кур» — троецыпленница справляется 1 ноября в день Косьмы и Дамиана, — в курьи именины. См.:

Д. Зеленин . Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию.

(АМР)

150

С дерева листье опало — опадение листьев — символ разлуки, потери.

(АМР)

151

Не состояться воде — не просветлеть, не успокоиться.

(AMP)

152

Очертя голову — отчаянно.

(AMP)

153

Без прилуки — без приманки.

(AMP)

154

Бедовое время — отчаянное время. Бедовое в таком же значении, как «бедовый человек».

(AMP)

155

В свины-поздни — поздно.

(AMP)

156

Трубой ввалились — разом.

(AMP)

157

Хватавщина — «хлебные панихиды», во время которых на особый столик кладутся блины и другие съестные приношения «на алчного, на жадного, на хватущего». По окончании церковного служения, «алчные, жадные и хватущие» устремляются к столику и расхватывают приношения кто сколько может.

(АМР)

158

Семик — древний праздник, празднуется в четверг на седьмой неделе по Пасхе; вся неделя называется Русальная, Зеленая, Клечальная. Вдовы на Семик собирают прошлогодние уцелевшие цветы. См.:

Д. Зеленин . Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию.

(АМР)

159

Разводили бабы бобы — канителились.

(АМР)

160

Алалакают — причитают.

(АМР)

161

«...щенята трепали онучу, потрошили священные перья троецыпленницы» — А. М. Ремизов заканчивает обряд кошунственным актом, предоставляя стихийным силам возможность вновь разрушить установленные обереги.

162

Ночь темная — В этой сказке об Иване-царевиче и царевне Копчушке воспроизводится мотив о живом мертвце, мотив очень древний, восходящий к древнеклассическому сказанию о

Протозилае и Лаодамии. В русской литературе через бюргерскую Ленору этот мотив разработан Жуковским в Людмиле, а в новейшее время Федор Сологуб воспроизводит его в трагедии «Дар мудрых пчел». — Собрание сочинений. Изд. «Шиповник», т. VIII.

(АМР)

163

Хунды — лихорадки (Белоруссия).

(АМР)

164

Гавкала — тьякала, брехала, лаяла.

(АМР)

165

Шандырь-шептун — колдун. Шандырь употребляется в детской считалке: «Шандырь-бандырь козу гнал, немец курицу украл» и т. д.

(АМР)

166

Пери да Мери, Шуды да Луды — знакомые из считалки:

Перя-меря.

Шуда-луда.

Пята-сота.

Ива-дуб.

Клен кре.

(АМР)

167

Кок-Кокоряшка — тоже из считалки:

Свистень-перстень.

Кок-кокоряшка.

Сизянка-полянка.

Кол-семикол.

О полицу лбом.

(АМР)

168

Стрекал — сшибал, так что трескало.

(АМР)

169

«С гуся вода, с лебедя вода... а с тебя, мое дитяtko, вся худоба на пустой лес, на большую воду» (опрыскивание водой от глаза).

(АМР)

170

Украла язык — испортила, сделала так, что Коза, подательница плодородия, уже не могла ничего говорить. Чтобы украсть у кого-нибудь язык, нужно только хватиться (прикоснуться) безымянным пальцем к сучку в половице или в стене, говоря заклинание.

(АМР)

171

Гремуч вир — гремящий омут.

(АМР)

172

Чертов лог — чертов овраг.

(АМР)

173

Ам!!! — съел. — Эту фразу надо прочитать так, чтобы действительно слушатели забоялись, а для этого следует готовить предыдущими фразами и сразу после паузы: «ам!!!»

(АМР)

174

ЗИМА ЛЮТАЯ. Зимнее время долгое — не очень побегаешь. Пришла Снегурушка, принесла первый белый снег, а за нею мороз идет. И наступило на земле царство Корочуново с метелями и морозами — «Корочун». Кот Котофей Котофеич любит сказки рассказывать в зимнее время, вспоминать приятелей: «Медведюшка», «Морщинка», «Пальцы», «Зайчик Иваныч», «Зайка». Все заканчивается медвежьей колыбельного песней.

(АМР)

175

Корочун — зимний Дед Мороз. — Древнерусское название зимнего солонворота (12 декабря), время от 15 ноября до Рождественского сочельника.

Древнерус . карачун, корочун, корочюн;

малорус , керечун, — от крачити, крак — шаг, нога. Этот самый дед Корочун, оказывается, по словам румынской колядки, приютит Божию мать с младенцем у себя в хлеву. См.: Акад.

А. Н. Веселовский. Разыскания. VI—X.

(АМР)

176

Дунуло много, — буйны ветры — дунуло много ветров, — буйны ветры.

(АМР)

177

Вдарило много, — люты морозы, — вдарило много морозов, — люты морозы. Такие опущения встречаются в народных русских песнях.

(АМР)

178

Драковитый дуб — развилистый.

(АМР)

179

Ветреник — шаловливый ветер, он румянит щеки и вешает сосульки на бороды и усы; если в студеное время отворить дверь наружу, так он тут как тут — заклубится паром.

(АМР)

180

Злющие зюзи — трескучие морозы, зюзи — морозы (Белоруссия).

(АМР)

181

Без попяту — не спячиваясь, не устремляясь на попятный.

(АМР)

Без завороту — не возвращаясь, не оборачиваясь.

(АМР)

182

Секнет — лопнет, отскочит в стороны.

(АМР)

183

На голодную кутью — 5 января в Крещенский сочельник. На эту кутью (кутья бывает еще в Рождественский сочельник — постная, и под Новый год ласая, или щедрая, или богатая) чествуются Корочун. Выбрасывая Корочуну за окно первую ложку, зовут кутью есть, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой и не губить посевов.

(АМР)

184

Морщинка. Эту сказку я слышал от старухи няньки.

(АМР)

185

Чистое поле — столь же частотная фольклорная формула, как и Море-Океан, характеризующая хаотическое иномирное пространство. В свете этого «Морщинка» — первая из волшебных инициационных сказок, завершающих цикл.

186

Носатая птица — вероятно, еще одна ипостась Главины, «птицы с железным клювом» (см. коммент. 124).

187

Пальцы. В основу сказки положен южнославянский миф. См.:

И. А. Бодуэн де Куртенэ . Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии, II. «Образцы языка на говорах терских славян в северо-восточной Италии». Сб. Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. наук. Т. LXXVIII, № 2, СПб., 1904.

(AMP)

188

Зайчик Иваныч. Есть известная народная сказка о трех сестрах. Рассказывали мне ее в Сольвычегодске.

(AMP)

189

Зайка. У детей глаза подслеповато-внимательные. Для них нет, кажется, ни уголка в мире незаполненного, все вокруг кишит жизнью, которые позже, по мере сознательности, или рассеются, или уж сядут на свои твердо определенные места. Не отделяя сна от бодрствования, дети мешают день с ночью, когда руководит ими не мама и нянька, а Сон. Всякую ночь Сон приходит к кроватке и ведет их гулять на свои поля к своим приятелям. Знакомые лица игр и игрушек ночью живут самой полной жизнью, и это отражается на отношении детей к предметам дневной жизни, когда они кушают. Среди бела дня вдруг покажется Кострома, а станет солнце закатываться, глядишь, и Буроба с своим мешком тащится, а уж когда совсем смеркнется и где-нибудь в углу зашевелился, станет расти — и ко сну клонить начинает.

(AMP)

190

Лягушка-квакушка с отбитой лапкой — фарфоровая лягушка с отбитой лапкой.

(AMP)

191

Зародыш — такой из пузыря человек, когда его надуешь, распухнет, но когда воздух выйдет, то, пискнув, он свернется в гадкую раскрашенную пленку.

(АМР)

192

«Пупки Кощея» — бульдегом. Коробка — 25 коп. Самое любимое кушанье детей — вареный куриный пупочек, и на конфеты сладкие переносится название пупочков.

(АМР)

193

Кучерище — игрушка щелкун. Сидит такое чудище с разинутым ртом, а перед ним коробочка с ручкой, если вертеть ручку, то вылезает из нее человечек и прямо в пасть. И сколько бы ни вертеть, человечек все вылезает, а чудище знай его проглатывает. Такая игрушка изображена в «Азбуке» Александра Н. Бенуа. Изд. Экспедиции заготовления государств. бумаг. СПб., 1905.

(АМР)

194

Васютка, сынишка Кучерищев — ветер в трубе.

(АМР)

195

Птица Гагана — мифическая птица, которая дает птичье молочко, гага. Гаганить — гоготать.

(АМР)

196

Слепышка Листин — в лесу живет, весь из листьев. Есть и Листина баба — игрушка: туловище сделано из мха, а вместо рук еловые шишки, на ногах настоящие лапки.

(АМР)

Слепышка Листин — в «Мышкиной дудочке» А. М. Ремизов, наделяя одну из гостей квартиры на улице Буало именем этого персонажа, дает более подробное описание Листана: «Листин — из моей „Посолони“, имя с русской земли, осенний, весь золотой, идет, шурша листьями, и золотом листит дороги, „слепышка“.

197

Медведь с Мужиком — деревянная игрушка. На двух палочках укреплены Медведь и Мужик, а между ними наковальня. Если двигать палочки в разные стороны, то попеременно Мужик и Медведь ударяют молотком по наковальне. Игрушка изображена в «Азбуке» Александра Н. Бенуа.

(АМР)

198

Мороками — мрачно, себе на уме.

(АМР)

199

Завязывал ножку у стола — есть такая примета: чтобы поскорей найти потерянное, надо завязать ножку у стола, и потерянная вещь найдется.

(АМР)

200

Два Козла-барана — деревянная игрушка, сделанная по образцу Медведь и Мужик.

(АМР)

201

Заартачились — заупрямились.

(АМР)

202

Афта — краска, которой пишутся автопортреты, по толкованию Зайки.

(АМР)

203

Медвежья колыбельная песня — с латышского. Хорошо читать колыбельные песни, напевая (мурлыкая). Весною 1906 г., когда я писал «Посолонь», мне приснился «удалой воин небаюканий, нелюканий». Весь закованный, подходил он ко мне, и я слышал, как в стук шагов его напевалась колыбельная песня медвежья. Мотив для этой колыбельной песни запомнился мне из моего сна.

(АМР)

Под которыми произведениями года не подписано, читай: 1906-й.

(АМР)

По мнению Р. Тименчика, непосредственным поводом к переводу А. М. Ремизова латышской песни «Айя жу-жу, лала берни...» послужило знакомство с латышским поэтом и переводчиком К. Якобсоном (Робертсом Скаргой) весной 1906 г. (

Тименчик Р. Литературные приключения латышской колыбельной. — Даугава. 1983. № 9. С. 119—120). См. также авторские воспоминания об исполнении «Песни» в книге «Пляшущий демон»: «И оттого, что мотив „Медвежьей колыбельной“ я запомнил из моего сна, я не пел, я только вызвучивал ритм, а слова были звериные» (

Ремизов А. М. Огонь вещей. М., 1989. С. 256).

204

К МОРЮ-ОКЕАНУ — Алалей и Лейла, герои моей поэмы, задумав думу идти к Морю-Океану, съели по ложке змеиной каши, чтобы понимать язык зверей, птиц и цветов, и вышли по весенней заре в путь. Идут они по земле странниками, над головою у них солнце, луна и звезды, — ищут они, где Море-Океан. Их путь лежит не волшебными странами и не широкими реками, а темными лесами, дремучими борами, калинниками, черемошниками, болотами, поточинами, водотопинами, полями, речками, узкими тропками — мышинными норами, змеиными тропами. Целый ряд приключений ожидает их в пути: то попадают они к Волку-Самоглоту в брюхо и, сидя в плену у Самоглота, много видят в окошечко, что творится в Божием мире весеннею ночью, когда пробуждаются все земляные силы и подземные, а

также слышат много разговоров и разных чертячьих сказок, то попадают они к Белуну в избушку и живут неделю у белого деда, дружат с его пчелою, как с сестрицею. Наступает лето, застигают их грозы, хоронятся они под кустиком, оказывается, заяц-единоух прячется, и узнают они от одноуха-зайца о житье-бытье зверином, потом встречают россомаху и отыскивают старого Слона Слоновича. Поздней осенью забредают они в избушку Вия. А от Вия попадают в Кошеево царство к Копоулу Копоулычу. Копоул приходится сватом и кумом Котофею Котофеичу. Перезимовав у Копоула, идут они дальше по дорогам к Морю-Океану, глаза и расспрашивая, брат и сестра, отец и дочь, жених и невеста. В конце второго лета, исходив родную землю вдоль и поперек, добираются они до заветной тропинки и в звездной ночи среди последних страхов слышат шум Океана, — уж близко шумит Море-Океан.

(АМР)

Океан-Море — семантика устойчивой фольклорной формулы, лежащей в основе сюжета цикла, вполне определена. А. Н. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу» (Т. 2. М., 1867) замечает: «В народных русских заговорах „океан-море“ означает небо». Опыт употребления формулы в произведениях других жанров показывает, что Морем-Океаном называется некое иномирное пространство, — «тот свет». Упоминается Море-Океан и в столь любимом А. М. Ремизовым «Стихе о Голубиной Книге», где он предстает водным первоначалом бытия («всем морям мати»). Таким образом, путь Алалея и Лейлы оказывается, с одной стороны, инициационным путем-испытанием «в иной мир», но в то же время итогом его становится приобретение сокровенного знания о первоосновах мироздания, жизни и смерти, Доле и Неделе.

205

Котофей Котофеич — тот самый кот, который беленькую Зайку выходил. См. сказку «Зайка» в

Посолони . После всяких любопытных странствий по белому свету Котофей осел в башне, в которой жил Алалей с Лейлой. Как попали в башню Алалей и Лейла, сами они об этом ничего не знают. Надо думать, что владельцы башни — Тигр на железных ногах либо Птица с одним железным клювом на тонкой шее, без головы; кто-нибудь из них принес в башню Алалея и Лейлу, вынув из колыбели, повешенной в лесу. См. «Медвежью колыбельную песню» в

Посолони .

(АМР)

206

Алалей и Лейла — Лейла — имя арабское, означает ночь, Алалей — такого нет имени. Так в детских губках двухлетней русской девочки прозвучало в первый раз имя Алексей.

(АМР)

207

Лихо Одноглазое — персонифицированное воплощение обделенности, недоли, встречающееся в восточнославянских сказках.

208

Коза — лубяные глаза — та самая Коза, которая жила в башне у царевны Копчушки, и у которой ведьма Соломина-Воромина «украла-язык». См. сказку «Ночь темная» в

Посолони . Коза Копчушкина вовсе не пропала, как думали. Коза, отыскав свой козий язык, наколбродив, попала, как и Котофей, в башню Тигра и Птицы.

(АМР)

209

Волк-Самоглот — сказку о Волке-Самоглоте см. у

А. Н. Афанасьева , Народные русские сказки. М., 1887, т. 2.

(АМР)

Волк-Самоглот — упоминание об одноименной игрушке встречается у А. М. Ремизова в «России в письменах» (М. — Берлин, 1922): «...А записка пока что у меня, а хранит ее волк-самоглот: если шарик качнешь, кланяется и хвостиком помахивает вверх и вниз — самоглот» (С. 54).

210

Кот-и-лев — Прозвище А. И. Котылева, журналиста и близкого друга Ремизова, много помогавшего ему в первые годы его литературной жизни. Воспоминания о нем рассыпаны в книге «Встречи. Петербургский буерак».

211

Весенний гром — когда гремит гром, ангелы по мосту едут, — народное поверье.

(АМР)

212

Птица Главина — главина птица — третий ангельский чин Начала, ангелы, низводящие дождь на землю.

(АМР)

Птица Главина — грозная птица из эсхатологических апокрифов. У Ремизова — смешивается с апокрифическим восприятием иерархии небесных ангельских чинов. И. Порфирьевым подробно излагается третий отрывок из «Заветов Адама»: «Третий чин составляют Начала. Их служение состоит в том, чтобы носиться в облаках, по слову пророка Давида, и низводить дождь на землю» (

Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 171—172).

213

Ремез — первая пташка — колядки о птице Ремезе см. в Объяснениях

А. А. Потебни . Варшава. 1887. Птица очень чтимая, гнездо ее надевали под шлем, как ограду от пули. За искусство вить гнездо величается Ремез первой у Бога.

(АМР)

214

Заяц-Единоух, певучая Лисица, лютый зверь — игрушки, на Арбате продаются в Москве.

(АМР)

Певучая Лисица — одна из игрушек, подаренных А. М. Ремизову писателем Андреем Белым («Помню „Певучую лису“. Андрей Белый принес ее и передал мне. Я почувствовал теплоту и дыхание в деревянной оболочке и ее звучащую душу» (

Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 121).

215

Белун — см.:

А. Н. Афанасьев . Поэтические воззрения. М., 1886—1889.

(АМР)

216

Собачья доля — см. легенду о собаке у

А. Н. Афанасьева . Народные русские легенды. М., 1859. П. Н. Из истории малорусских народных легенд. Этнограф. обозрение., кн. VII, 1890.

(AMP)

217

Божья пчелка — легенды о пчеле у Афанасьева в Поэтических воззрениях. Кроме того я пользовался заговорами пчелиными. Рукопись заговоров принадлежит Анне Алексеевне Рачинской.

(AMP)

218

Вечерница — вечерняя звезда, Венера.

(AMP)

219

Проливной дождь — когда идет дождь, надо бросить лопату на крышу Бабе-Яге, и дождь перестанет, — народное поверье.

(AMP)

220

Колокольный мертвец — легенду о Колокольном мертвце см. у

В. Бондаренко. Очерки Кирсановского уезда, Тамбовской губ. Этнограф. обозрение, кн. VI, VII, 1890.

(AMP)

221

Ягий — злой.

(АМР)

222

Задушницы — вторник на неделе перед Сошествием Св. Духа, называемой зеленой, русальной, клечальной или семицкой. В этот вторник, а также в троицкую субботу («Родители троицкие») поминают покойников.

(АМР)

223

Домовище — домовина, гроб. см.:

Барсов Е. В. , Причитания северного края. М., 1872—1882.

(АМР)

224

Ангел-хранитель — об ангелах — «300 ангелов солнце воротят» см.:

И. Порфирьев . Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872.

(АМР)

225

Спорыш — бог жатвы, стебель с колосом двойчаткой, черное зерно во ржи, от него квашня хорошо подымается. См.:

А. А. Потеня . Объяснения.

Н. Ф. Сумцов . Обжинки. Этно. Обоз. 1889. 3.

(АМР)

226

Лелю — ой, лелю! — припев веснянок.

(АМР)

227

Ладо — ой, ладо! — припев купальских и петровочных песен.

(АМР)

228

Пролетье — пора до Петрова дня.

(АМР)

229

Засек — загром.

(АМР)

230

Завивать бороду — завивают бороду Велесу, Козлу, Спасу-Николе — древний жатвенный обряд славян, литовцев и других арио-европейских народов. См.

Посолонь — «Борода».

(АМР)

231

Лютые звери — сказка о мышке и сороке — народная.

(AMP)

232

Слон Слонович — эротическое прозвище-эвфемизм, данное Юрию Никандровичу Верховскому, поэту, переводчику, историку литературы.

233

Ветер-голубь — вестник любви. Любовные письма пишут на крыле голубя.

(AMP)

234

Ведогонь — древнеславянское поверье, встречающееся у сербов, черногорцев и поляков. Ведогоню-духу охранителю, живущему в человеке, соответствует зырянский орт.

(AMP)

235

Затул — затулье, ограда, защита.

(AMP)

236

Пузырь — «Над ним (Хомой Брутом) держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал; черная земля висела на них клоками». — Вий.) Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя. Изд. его наслед. Т. 1. М., 1862. С. 434—435.

(AMP)

237

Кукураковна — сплетница.

(AMP)

238

Посолонь — по солнцу, по течению солнца, как ходит колесо года — с весны на зиму.

(AMP)

239

Летавица — Ветренница, Прелестница, Дикая баба — галицко-русское поверье. См. Живую Старину, 1897. Вып. 1 (Статья Юлиана Яворского).

(AMP)

Летавица — наиболее близкий аналог этого образа — южнославянская Вила (Самовила). Ссылка в примечаниях самого Ремизова на статью Ю. Яворского в «Живой Старине» (1897, № 1) мистифицирована; аналогичной статьи в журнале не обнаружено.

240

Никола Хлыновский Великорецкий — Хлынов — Вятка.

(AMP)

241

Басаврюк — «бесовский человек» у Гоголя в «Вечере накануне Ивана Купала».

(AMP)

242

Граючи — граять, гаркать, каркать.

(AMP)

243

Лизун — домовой.

(АМР)

244

Упырь — см. Живую Старину, 1897. Вып. 1. (Статья Юлиана Яворского). Народные поверья дают следующее объяснение происхождения Упырей: если беременная женщина посмотрит в церкви во время Великого выхода на священника, несущего чашу, то ее дитя будет упырем. Упырь по смерти своей между полночью и первым петухом выходит из могилы и ходит к тем, кто ему люб, и высасывает у них кровь или заманивает их в могилу и там это делает, для ограждения от Упыря откапывают его гроб, отрезают ему голову и кладут ее между ногами трупа, прибавают голову или сердце осиновым колом или железным гвоздем ко дну, и тогда Упырь не может тронуться из могилы.

(АМР)

245

Вырии-птицы — весенние птицы. Вырей, Ирей — сказочная страна, где нет зимы.

Ир — весна. В Поучении Владимира Мономаха: «И сему ся подивуемы, како птицы небесныя из ирья идут».

(АМР)

246

Сон-трава — *Anemone pratensis*. См.:

Н. Ф. Сумцов. Этнограф. заметки. Этн. обоз. III.

(АМР)

247

Верба — сказание о вербе основано на литовском предании о женщине по имени Блинда. Ей

позавидовала Земля и обратила ее в вербу. В древней Литве верба считалась богиней чадородия, ей приносили молитвы и жертвы. Верба имеет влияние на чадородие. Святою вербою ударяют для здоровья, приговаривая: «Будь велик, як верба, а здоров, як вода!» Верба ограждает дом от грозы и пожара, — Перунова лоза.

(AMP)

248

Дни потемы — скрытые мраком зимние дни.

(AMP)

249

Всполохи — северное сияние; полах — полымя.

(AMP)

250

Зарное — страстное, горячее.

(AMP)

251

Купало — куп, кып — ярый, кипучий, горячий.

(AMP)

252

Свети-цвет — народное название чудесного купальского цветка папоротника.

(AMP)

253

Полудницы — по верованиям славянских и греческих народов: всклокоченные старухи в лохмотьях с клюкой, которые, наступая в полдень, загадывают загадки и щекочут до смерти. Только что молитвой на «изгнание беса полуденна» возможно кое-как от них отделаться.

(AMP)

254

Карина — плакальщица; карити — причитать.

(AMP)

255

Желя — вестница мертвых; жля — жалеть. Карина и желя упоминаются в Слове о полку Игореве.

(AMP)

256

Радуница — от литовск. Rauda — погребальная песнь — весенний праздник солнца для умерших, позже Радоница — радостная весть. Воскресенье на Фоминой — Красная горка, понедельник — Радуница, четверг — Навий день.

(AMP)

257

Пробила лед щука — щука пробивает хвостом лед на Алексея — человека Божия, 17 марта.

(AMP)

258

Ой, лелю! — припев веснянок, которые начинают петь с Фомина воскресенья — Красной горки.

(АМР)

259

Студеницы — дождевые тучи.

(АМР)

260

Развой — разлив.

(АМР)

261

Каменная баба — см.:

А. Н. Афанасьев . Поэтические воззрения.

(АМР)

262

Волх Всеславьевич — Вольга Святославич родился от княжны и змея Горынича. Его богатырская слава основывается на хитрости-мудрости оборачиваться лютым зверем, серым волком, ясным соколом, гнедым туром, щукой. Он совершает поход в Индию богатую, в Туре-землю. Встречается с великаном-пахарем Микулой Селяниновичем.

(АМР)

263

Лужанки — см.:

В. Н. Бондаренко. Очерки Кирсановского уезда.

(AMP)

264

Водыльник — водяник.

(AMP)

265

Остудное — постылое.

(AMP)

266

Торок — порыв ветра.

(AMP)

267

Крес — искра, огонь, вызванный ударом из камня, небесный свет.

(AMP)

268

Мокуша — древнеславянская Мокошь, хранительница молнийного небесного огня.

(AMP)

269

Бродницы — сторожили броды.

(AMP)

270

Нежит — см.:

Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Спб., 1861.

(AMP)

271

Ярец — название мая.

(AMP)

272

Яроводье — сильный разлив весенних вод.

(AMP)

273

Мавки — горные русалки живут на вершинах. Мавки — маны (manes) — души умерших.

(AMP)

274

Буян — холм, гора.

(AMP)

275

Буйвище — кладбище (гноище).

(АМР)

276

Жальники — общие могилы.

(АМР)

277

Волосатка — домовиха.

(АМР)

278

Гукать — кликать, звать, закликать.

(АМР)

279

Волшанские жеребья — вещи. Волшан, Волот — волхв Волот Волотович — собеседник премудрого царя Давыда Евсеевича в «Стихе Иерусалимском» и в «Книге голубиной». См.:

П. А. Бессонов. Калики переходящие. М., 1861. Волот — великан. Волотоман — исполин.

(АМР)

280

Резвый жеребий — решительный.

(АМР)

281

Зель — молодая озимь до колошенья.

(АМР)

282

Коловертыш — помощник ведьмы. См.:

В. Н. Бондаренко. Очерки Кирсановского уезда.

(АМР)

283

Ховала — олицетворение зарницы. Ховать — прятать, хоронить.

(АМР)

Ховалы — зарницы. См.:

А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения.

(АМР)

284

Мара-Марена — Морана, богиня смерти, зимы, ночи. См.:

А. А. Потеня. Объяснения.

(АМР)

Марена — чучело, кукла, символизирующая уходящую зиму и ее умирание. Обряд сожжения (потопления) Марены совершается в одно из последних воскресений Великого Поста. (Подробное описание обрядового канона и его вариаций см.

Толстая С. М. Вариативность формальной структуры обряда (Купала и Марена). — Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 576. (ТЗС, XV). Тарту, 1982. С. 72—89.) Вынос чучела обычно сопровождается характерной припевкой: «Смерть несем из села, новое лето — в село». Таким образом, содержанием обряда становятся похороны Смерти, и именно это, по-видимому, обуславливает появление Марены в одной из финальных сказок ремизовского цикла. Образ Мары-Марены оказывается напрямую связанным с тайной преодоления смерти, которая открывается прошедшим через испытания Алалею и Лейле. «Я чувствовал обреченность человека, его непоправимую долю — цепные лады, минор-мажор. Девятая симфония Бетховена — а в природе Мару-Марену,

опечаленную сестру мою на весенних дорогах» (Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 88).

285

Птица Могул — в былине-сказке о «Ваньке-Удовкине сыне» помогает Ваньке в благодарность за сохранение птенцов.

(AMP)

286

Марун — морской Бог (mare). Я нашел изображение его (сучок) на острове Вандрок (Оландские острова) на скалах осенью 1910 года.

(AMP)

287

Сталло — Stahlmann — стальной человек, закованный в латы, лопарский богатырь. Конечно, такого богатыря баюкал в лесу олень, не человек. Русские лопари. М., 1890.

А. Яценко. Несколько слов о русской Лапландии. Этнограф. Обоз. 1892, кн. XXII.

(AMP)

288

Рожаница — см.: Акад.

А. Н. Веселовский . Судьба-доля в народных представлениях славян. Разыскания. XII—XVII. Вып. 5. Спб., 1889.

(AMP)

289

Косари — народное название головы Млечного пути.

(AMP)

Становище — Млечный путь.

(AMP)

290

Злыдни — олицетворение Недоли.

(AMP)

291

Затор — задержка в пути.

(AMP)

292

Зорит — зарница зорит хлеб — ускоряет созревание (народное поверье).

(AMP)

293

Осек — засека, лес с покосом за изгородью.

(AMP)

294

Измоделый — изможденный.

(AMP)

295

Зыбель-болото — зыбкое, болотистое место.

(АМР)

296

Свети-цвет — народное название чудесного купальского цветка папоротника.

(АМР)

297

Моряна — живет на море, владеет ветрами, топит корабли.

(АМР)

298

Алалей и Лейла, наконец, доходят до Моря-Океана. А что же Котофей Котофеич, освободил Котофей свою беленькую Зайку из лап Лихи-Одноглазого? Не знаю, не скажу. Одну только завитушку расскажу из путешествия Котофея в царство Лихи-Одноглазого. Вот она какая.

(АМР)

Создавая книгу сказок, Ремизов подчиняется сказочному закону последовательного, необратимого течения времени и отделяет связанную с циклом единым сюжетом «Завитушку» от путешествия Алалея и Лейлы.

299

Ве?щица — Демоническое существо о двенадцати с половиной имен. Имена указывают на разные виды зла, причиняемые Ве?щицей людям. Византийские сказания о дьяволе Гилло и еврейская легенда о Лилит, первой жене Адама, послужили впоследствии материалом заговору против трясавиц и молитв Сисиния. Греческая ????? — славянская Ве?щица, восходит к холдейскому учению о 12-ти астральных духах, влияющих на судьбу человека.

(АМР)

Сюжетной основой «Ве?щицы» являются греческие и румынские легенды о св. Сисинии, которые подробно пересказываются в кн.:

Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. — Записки Императорской Академии наук, т. 45. Спб., 1883. С. 40—51. Именно отсюда заимствованы мотивы коварства Ве?щицы (в греческой легенде — Гилло), проникающей в башню в ухе коня, борьбы с ней Сисиния, чуда извержения им материнского молока. Имя Сисиния позже сохраняется в заговорах от лихорадок («трясовиц»), которые часто приводятся в отреченных церковью сборниках молитв и преданий богомильского толка.

300

В Гадояде... — Гадояд — здесь, возможно, имитация характерных для древних рукописей искажений географических названий, имен легендарных героев и т. п. Ср. написание имени библейского Голиафа («Голиядъ») в одном из памятников XV в. (Памятники литературы Древней Руси: 2-я пол. XV в. М.: 1982. С. 68, 591). В Библии упомянут Гад — родоначальник одного из колен израилевых, с именем которого связаны страна и долина «гадовы» и «гадояне», жители этой страны. Там же говорится и о земле и городе, называемыми «Галаад».

301

...в стране стеклянной... — Помимо естественно возникающих ассоциаций с фольклорными медными, серебряными и золотыми царствами, вероятно связь этого образа с апокалиптическим видением «моря стеклянного, подобного кристаллу» (Откровение 4, 6).

302

...царь по имени Геген с царицею Марогой. — Скорее всего, оба имени являются порождением ремизовской фантазии. В рукописи супружеская чета именуется царем Гогом с царицей Магогой, т. е. их имена производятся от таинственных «Гога и Магога» — так зовутся в Библии живущие на окраине мира враждебные народы, полчища которых заполняют землю во время светопреставления.

303

...на молоду и под полн, на перекрое и на исходе месяца... — т. е. в ново— и полнолуние и во время других фаз луны, весьма значимых для древней магии.

304

...мертвые мыши... — Здесь, возможно, отразились народные поверья о том, что в «образе мыши могут являться души умерших» (

Успенский Б. А. Филологические изыскания в области славянских древностей: Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 96).

305

...в Окаменелое царство ко Скат-горе, ел там царь пену с заклятых гробов, силы набирался богатырской... — Мотив заимствован из былин и сказок о встрече богатырей Святогора и Ильи Муромца. Грбовая пена — источник волшебной силы, которую передает перед своей кончиной Святогор богатырю-преемнику.

306

...не со?билось... — не хотелось, не было намерения.

307

...Сисиний... победитель Пора... — Пор — правитель одной из областей западной Индии, разбитый Александром Македонским в битве при Гидаспе в 326 г. до н. э. Здесь это имя использовано как одно из знаменательных (благодаря популярным повестям об Александре) для древнерусского читателя — как олицетворение могучего воителя.

308

...молния, бреча, клевала землю. — Бречать (брячать) — звенеть.

309

Шелом окатный. — Шеломя окатное — утес.

(AMP)

310

А имена мои суть: Мора, Ахоха, Авиза, Пладница, Лекта, Нерадостна, Смутница, Бесица, Преображеница, Изъедущая, Полобляющая, Негрызущая, Голяда. — Имена Ве?щицы заимствованы Ремизовым частично из одного памятника XVII в., частично из одного из архангельских заговоров от трясовицы (см.:

Веселовский А. Н. Указ. соч. С. 50, 429). Часть из них достаточно прозрачна по своему смыслу, значение других утеряно. Некоторые имеют явственную греческую природу и, очевидно, так же, как и имена с русской основой, обозначают демонов, губящих людей и приносящих им различные болезни. Например, имя «Авиза» объясняется А. Н. Веселовским (от греч. ????? — Авизоя) как «высасывающая из человека кровь, силы» (там же, с. 50).